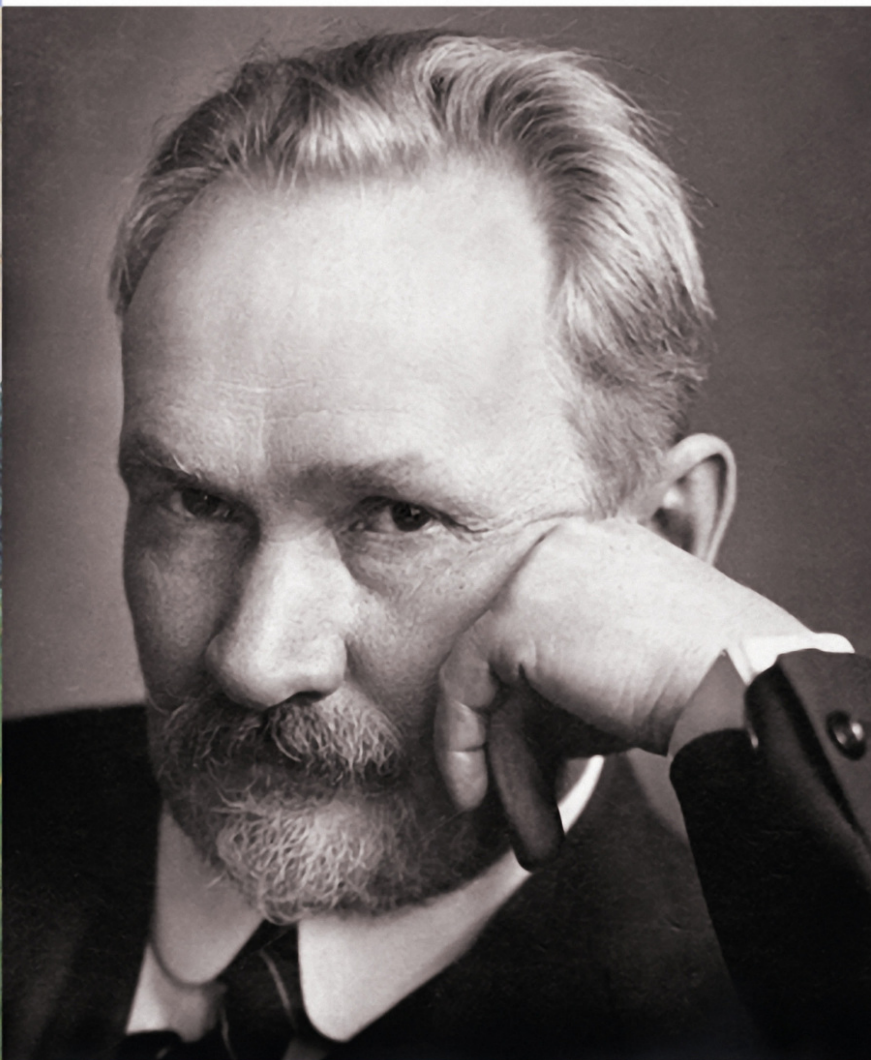


РОЗАНОВ



Алексей
Варламов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей (Молодая гвардия)

Алексей Варламов

Розанов

«ВЕБКНИГА»

2022

Варламов А. Н.

Розанов / А. Н. Варламов — «ВЕБКНИГА», 2022 — (Жизнь замечательных людей (Молодая гвардия))

ISBN 978-5-235-04492-0

О Василии Васильевиче Розанове (1856–1919) написано огромное количество книг, статей, исследований, диссертаций, но при этом он остается самым загадочным, самым спорным персонажем Серебряного века. Консерватор, декадент, патриот, христородец, государственник, анархист, клерикал, эротоман, монархист, юдофоб, влюбленный во все еврейское, раскованный журналист, философ пола, вольный пленник собственных впечатлений, он прожил необыкновенно трудную, страстную и яркую жизнь. Сделавшись одним из самых известных русских писателей своего времени, он с презрением относился к литературной славе, а в конце жизни стал свидетелем краха и российской государственности, и собственной семьи. История Розанова – это история блистательных побед и поражений, счастья и несчастья, того, что Блок называл непреложным законом сердца: «радость – страданье одно». И всем этим чувствам, всем ощущениям, всем событиям и мгновениям жизни В. В. умел подобрать самые точные и волшебные, самые «розановские» слова, не утратившие обаяния и столетие спустя. Автор книги писатель Алексей Варламов не уклоняется от острых и трудных вопросов биографии своего героя и предлагает читателю вместе с ним искать ответы на них.

ISBN 978-5-235-04492-0

© Варламов А. Н., 2022

© ВЕБКНИГА, 2022

Содержание

Шило в мешке	7
Происхождение героя	9
Мерзость запустения	11
Патологии	14
Три гимназии	16
Женился на Достоевском?	20
Загробное чтение	25
Людская молва	28
Неравный брак	30
Альма-мачеха	32
Непонимание	35
Метель в степи	40
Закон чисел	43
Друзья по переписке	46
О любви	51
Что такое развод?	54
Таинство	58
Документ	61
Вытащить из Белого	65
Русская партия	68
Чужой среди своих	71
Город пышный, город бедный	74
Жизнетворец	78
Бедные люди	82
Ужо тебе!	86
Чего же ты хочешь?	90
Слово и тело	94
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Алексей Варламов Розанов

© Варламов А. Н., 2022

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022

* * *

Автор выражает глубокую благодарность С. Р. Федякину за замечания и пожелания, высказанные по прочтении рукописи этой книги.

Издательство «Молодая гвардия» благодарит Государственный литературный музей им. В. И. Даля за предоставленные иллюстративные материалы.

Шило в мешке

Нет в русской литературе другого писателя, который вызывал бы столько неприязни и раздражения у самых разных людей, как герой этой книги. И при жизни, и после смерти. Как его только не гнали, как не обзывали, в чем не обвиняли, с кем уничижительно не сравнивали, от чего не отлучали. «Голый Розанов», «Обнаженный нововременец», «Бесстыжее светило, или избобленный двурушник», «Гнилая душа», «Неопрятность», «Вместо демона – лакей», «В низах хамства», «Разложение литературы», «Позорная глубина», «Всеобщее презрение и всероссийский кукиш», «Опаснее врага», «Человек душевного мрака» – вот только несколько названий статей, которые были написаны в начале века, но кажутся прилетевшими из советского тридцать седьмого года. Известно резкое письмо Леонида Андреева Горькому, где он называет Розанова «ничтожным, грязным и отвратительным человеком» и сравнивает его с «шелудивой и безнадежно погибшей в скотстве собакой», в которую жалко бросить чистым камнем. «Ведь это же гадина, форменная гадина, отвратительно-продажная, подло-предательская, фарисейски-лицемерная», – писал Семен Венгеров Алексею Ремизову. «Редкий талант отвратительнее его», – отзывался о Розанове юный Александр Блок. «Что может дать духовно этот одаренный и пронизательный писатель, который сам представлял собой какой-то безликий, аморфный студень?» – риторически вопрошал философ С. Н. Булгаков, ученик Розанова в гимназии Ельца.

Однако при этом никто и никогда из розановских недругов его талант сомнению не подвергал, и если продолжить, например, цитату из письма Венгерова, то и он признавал, что Розанов «писал почти – гениально». То же и Мережковский: «Считаю нужным оговориться, что я считаю Розанова, несмотря на все его заблуждения, не только в России, но и всемирно гениальным писателем». Нечастый случай, когда литературное дарование не оспаривается, а личность подвергается строжайшему разбору. Вот уж точно соединение гения и злодейства, но при этом и гения, и злодейства весьма своеобразного. «Ни в ком жизнь отвлеченных понятий не переживалась как плоть; только он выделял свои мысли – слюнной железой, носовой железой; чмахом, чмыхом; забулькает, да и набрызгивает», – вспоминал Андрей Белый, но и он Розанова ставил очень высоко.

Без этого человека не было бы в России Серебряного века, а если и был бы, то совсем другой, более пресный, гладкий, безопасный, полый и бесполой. Однако и Розанова невозможно представить в иную эпоху. Он стал ее эталоном, средоточием, тайным удом, не случайно о нем написано такое количество воспоминаний, научных исследований, статей и монографий. Его не перестают издавать, переводить, обсуждать, изучать, укорять, превозносить, ниспровергать, и когда читаешь эти эмоциональные публицистические либо сухие научные строки, странным образом ловишь себя на мысли, что все выступающие правы. И которые за, и которые против. И те, кто обвиняет, и те, кто оправдывает. И те, для кого он бесформенный студень, и те, для кого – острый нож.

В. В. – как часто называли его современники – настолько широк, всеобъемлющ и безразмерен, что, говоря о нем, невозможно промахнуться. Однако и он стреляет по нам в ответ. «Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка... баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, – нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, но спас мне честь и дыхание, – написал Венедикт Ерофеев. – Все тридцать шесть его сочинений вонзились мне в душу, и теперь торчали в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна»¹.

¹ Любопытно, что со святым Себастьяном сравнивал самого Розанова критик А. А. Измайлов, о чем Венедикт Ерофеев едва ли знал. «Живет, кажется, с вечною стрелой в сердце, как Себастьян, и когда бы это ни было и где бы он ни был, –

Уколы разной силы почувствовал, наверное, каждый из розановских читателей; даром, что ли, еще Пришвин заметил: Розанов как шило в мешке, его не утаишь. Хотя поразительным образом советской власти это почти удалось, и Розанова большинство из нас прочитало лишь тогда, когда ее не стало². Во всяком случае, в первой половине восьмидесятых на лекциях по русской литературе студентам филфака МГУ о нашем знаменитом выпускнике ничего не рассказывали. Или, может быть, я прогуливал либо невнимательно слушал...

весь во власти одних вопросов». Розанов после этой статьи писал Измайлову: «Не скрою: 2 слова – “о стреле Себастиана” и “исповеданиях” всего дороже».

² Большинство – не значит все. Конечно, и в советское время у Розанова были и читатели, поклонники, и исследователи: А. Н. Богословский, В. Г. Сукач, П. В. Палиевский, М. Т. Палиевский, В. В. Кожин, В. А. Фатеев, А. Н. Николюкин, А. Л. Налепин, Т. В. Померанская, В. И. Сахаров и др.

Происхождение героя

Историей своего рода Василий Васильевич не интересовался, честно признаваясь, что «далее деда у себя ничего не помнит, и деда знает лишь из отчества отца: Василий Федорович, значит Федор», а в «Опавших листьях» подводил под это генеалогическое безразличие своеобразную теоретическую базу: «У русских нет сознания своих предков... от этого наш нигилизм: “до нас ничего важного не было”». Это важное сделали за него исследователи много лет спустя, и если коротко суммировать их изыскания, картина получается такая.

Будущий писатель В. В. Розанов по линии отца происходил из священнического рода, а по линии матери – из обедневшего дворянского. При этом фамилия, о которой он так сокрушался (все, конечно, помнят дивный пассаж про булочника Розанова из «Опавших листьев»; правда, подозреваю, что сокрушался В. В. делано, на самом деле «неестественно-отвратительная» фамилия ему ужасно нравилась, как нравилось и все, что было связано с ним самим), не была родовой. Его деда по отцовской линии звали Федор Никитич Елизаров, был он сыном священника, внуком священника и сам служил священником в храме Рождества Богородицы в селе Матвееве Кологривского уезда Костромской губернии. Розановым стал родившийся в 1822 году его сын Василий, после того как отрока отдали в семинарию. Такая была у «колокольных дворян» традиция: менять фамилии своим отпрыскам, посылая их на учебу.

Что касается того, почему розановский дед избрал именно эту, прекрасную, звучную, литературную, то существует убедительное предположение костромской исследовательницы Ирины Халидовны Тлиф, что это было сделано в честь любимого семинарского преподавателя отца Феодора. «В Костромской духовной семинарии в начале XIX века служил учителем Василий Федорович Розанов – выпускник Костромской и Лаврской семинарий. В семинарии он преподавал философию и французский язык, а во внеклассное время занимался постановками пьес на дозволенные семинарским правлением сюжеты. За любовь к драме получил замечание епископа, а впоследствии театральные действия и вовсе были отменены – “от семинаристов не комедиантов, а добрых пастырей и духовных наставников ожидают”. Позже В. Ф. Розанов принял монашество (в монашестве Гавриил), был ректором различных семинарий, епископом Орловской епархии, архиепископом Екатеринославской, затем Тверской и Кашинской епархий. Написал несколько сочинений религиозно-поучительного характера. У Василия Федоровича обучались многие отцы будущих “Розановых”, в том числе Ф. Н. Елизаров, старший сын которого был полным тезкой семинарского учителя и первым Розановым в роду».

Отец нашего Розанова, стало быть, тоже Василий Федорович, окончил Костромскую семинарию в 1840 году, однако по духовной части не пошел, а поступил на службу в Костромскую палату государственных имуществ писцом второго разряда. Служил он, судя по всему, весьма усердно, и четыре года спустя его повысили и перевели в город Ветлугу, где предположительно он и познакомился со своей будущей женой Надеждой Ивановной Шишкиной. Она была дочерью небогатого дворянина, который вышел в отставку, овдовел и проживал в Буйском уезде под надзором полиции как человек, «склонный к разным буйствующим поступкам», «частовременно занимающийся пьянством и в этом положении производящий разные предосудительные поступки». Среди прочих преступлений его также подозревали «в причинении насильственного блудодеяния», иначе говоря, изнасиловании. Таким образом, рассуждая о пресловутой противоречивости, двойственности нашего протагониста и соединении несовместимого в его личности и судьбе, можно предположить, что шло оно в том числе от разных натур двух его дедов – благородного левита, всю свою жизнь прослужившего в одном селе, избиравшегося депутатом при одиннадцати церквях и награжденного набодренником, пользовавшегося огромной любовью и уважением у клира и мира («трезв, к должности рачителен,

поведения честного, нравов кротких»³) и – буйного буйского помещика, замешанного в преступлениях на сексуальной почве. А если верно, что гены передаются через поколение, то знаменитое розановское «два ангела сидят у меня на плечах: ангел смеха и ангел слез. И их вечная пререкание – моя жизнь» – возможно, тоже идет отсюда, о чем сам В. В., правда, не ведал, но недаром писал, что есть люди, которые рождаются «ладно» и которые рождаются «неладно». Розанов родился «неладно», и потому такая «странная, колючая, но довольно любопытная биография». Впрочем справедливости ради, в «Последних листьях» он сам себя опровергал: «Моя душа – вечное утверждение. “В мире со всеми”, “в ладу со всем”. Никогда еще такого “ладного” человека не рождалось». И никакого противоречия тут нет.

³ Е. Е. Голубинский вспоминал немного иначе: «...сколько ни пил, никогда нельзя было заметить, что пьяный».

Мерзость запустения

Ветлужский период в жизни ладно-неладного младенца Василия был очень недолгим, но относительно благополучным. Во всяком случае, никакими иными свидетельствами на сей счет мы не располагаем, а более позднее розановское признание: «мы были страшно бедны, когда я родился, и я не забуду рассказа матери, что этот немудрящий доктор, помогший моему рождению, положил желтенькую бумажку, старый наш русский рубль, ей под подушку: уж не знаю, на пищу роженице или на лекарство, им прописанное» – кажется несколько преувеличенным. Все-таки глава семьи, чиновник не самого низшего звания, каким был энергичный Василий Федорович Розанов, пусть даже исключительно честный, не берущий взятки, вряд ли был беден до такой уж степени. Несчастье случилось зимой 1861-го, в канун выхода царского манифеста об освобождении крестьян. Занимавший в ту пору должность помощника ветлужского окружного начальника и по совместительству заведующего Варнавинским лесничеством отец семейства заболел воспалением легких и скоропостижно скончался, оставив сиротами семерых детей и жену, беременную восьмым ребенком. Жития его было тридцать девять лет...

Розанов отца не помнил, но позднее называл его добрым, честным, простодушным, смелым человеком, а про мать писал, что при ее жизни не чувствовал и не любил ее. Тому были свои причины. После смерти мужа тридцатипятилетняя вдова с детьми переехала в Кострому. Там она купила небольшой дом на окраине города близ местной Сенной площади, где и прошло печальное Васиного детство, о котором мы знаем опять же в основном с его слов. Полностью доверять этим словам сложно, не доверять – невозможно. Розанов называл свое детство страшным, больным, испуганным, замученным, опозоренным, страдальческим, а дом, в котором он вырос, – рухлядью, темным, мертвым и злым. А кроме того – бедность, бедность, бедность, «нищета голая», такая, что иногда ели месяцами один печеный лук. Он вспоминал Кострому как город бесконечных дождей, писал, что над ним всегда были «у-у какие большие», а он был «страшно придавлен» и стал «слабым, бесконечно слабым». Своим детям, когда они шалили и не хотели есть, рассказывал о своем голодном детстве и, сделавшись известным писателем, больше всего гордился не своей известностью, не славой, а тем, что у него за столом собирается десять человек и он всех кормит.

Опять же, так ли все было беспросветно в материальном отношении в его ранние годы, сказать трудно. Надежда Ивановна получала после смерти мужа пенсию 300 рублей в год, и это были совсем не маленькие по тем временам деньги. Еще сколько-то Розановы получали, сдавая второй этаж дома «нахлебникам» (так звали тогда постояльцев), плюс у семьи были свой большой огород и корова. В. В. оставил в одном из писем Эрику Голлербаху душераздирающее описание смерти этой коровы: «Она была похожа на мамашу, и чуть ли тоже “не из роду Шишкиных”. Не сильная. Она перестала давать молоко. Затвердение в вымени. Призвали мясника. Я смотрел с сеновала. Он привязал рогами ее, к козлам или чему-то. Долго разбирал шерсть в затылке: наставил – и надавил: она упала на колени, и я тотчас упал (жалость, страх). Ужасно. И какой ужас: ведь – КОРМИЛА, и – ЗАРЕЗАЛИ. О, о, о... Печаль, судьба человеческая (нищета). А то все – молочко и молочко. Давала 4–5 горшков. Черненькая и словом “как мамаша”».

После этого в семье «настала окончательная нищета». Однако письмо Голлербаху было написано в голодные послереволюционные годы в Сергиевом Посаде, когда Розанов действительно питался очень скудно и одно ощущение могло не просто наложиться, но затмить другое. А вообще-то в пору розановского детства корова стоила 5–7 рублей, так что при такой пенсии купить новую большую труда, наверное, не составляло. В. В. писал, что мать не умела пенсией распорядиться, и деньги, которые они получали два раза в год по 150 рублей, разлетались за три-четыре месяца, а вот если бы получали каждый месяц по 25 рублей, то при своем домике

и огороде могли бы существовать. И все же главное несчастье семьи состояло не в деньгах или в их недостатке.

Оно явилось в 1864 году в образе конкретного человека, своего рода злого гения Розановых. Это был некто Иван Воскресенский, «нигилист-семинарист», снимавший комнату в розановском доме, но в отличие от других нахлебников задержавшийся в этом месте надолго. Отроку Василию было восемь лет, когда Воскресенский сошелся с Надеждой Ивановной, будучи вдвое ее моложе, и фактически стал детям «вотчимом».

«Мама, невинная и прекрасная, полюбила его, привязалась старую – бессильную – несчастною любовью», – вспоминал Розанов незадолго до смерти, когда тон его по отношению к матери сделался примирительным и он «вызвал тень ее из гроба» и «страшно с нею связался» (письмо Голлербаху), «и ее грехи, слабости, несчастье – все так люблю, люблю и целовал бы ее худенькое, больное личико и худенькие руки» (письмо о. Павлу Флоренскому), однако в ту пору это была настоящая семейная война. Каким был по характеру мамин сожитель, зачем нужна ему была вдова с многочисленным потомством, действительно ли он хоть сколько-нибудь любил ее – все это доподлинно неизвестно, но нельзя исключить того, что исчезавшие за короткий срок пенсионные деньги тратились как раз на милого друга и двадцатилетний лоб сделался нахлебником в принятом ныне смысле этого слова.

Сам Розанов позднее писал про Воскресенского, что «м. б. он был и недурным человеком, но было дурное в том, что мы все слишком его ненавидели». Только вряд ли детская эта ненависть родилась на пустом месте. В воспоминаниях старшей дочери Розанова Татьяны, очевидно, ссылавшейся на рассказы отца, говорится, что Воскресенский «был человеком озлобленным и часто пил». Розанов называл его в письмах «странным и угрюмым, “с должностями человека”, но немymi, холодными, бездушными». Семинарист был явно безразличен к тому попрису, для которого готовили. «Мама и мы ничего не понимали в его “идеях”, но, очевидно, он был “мыслящий реалист”, и когда я гимназист шел на исповедь, он говаривал сухо: И – и – и (заикался) дешь попу грехи сваливать. Сваливай, сваливай! (сухо, без шутки)».

Однако своеобразного педагогического задора Воскресенский был не лишен и, судя по сохранившимся документам, пытался своих пасынков и падчериц не просто воспитывать, а вымещать на них собственные комплексы и обиды. Не на старших, которые были по возрасту практически его ровесниками и в родном доме уже не жили, а на младших. Именно обаяние власти, осознание своего могущества, а не только и не столько влечение к маленькой, неграмотной, раздражительной женщине, какой запомнил Розанов свою матушку, удерживало семинариста в доме у Боровкова пруда на окраине Костромы в течение шести лет. То был вариант сержантской дедовщины, когда «мыслитель» гнобил и сек этих несчастных детей, пытался подчинить, заставить себя уважать, а они как могли сопротивлялись и, сидя на бревнах во дворе, строили планы обратиться в полицию и обсуждали взрослую сторону жизни. «А ее “Ванька” порол меня, и вообще “школил” ДО гимназии, т. е. лет 7–8–9–10–11, и *Его*-то я как дьявола и хуже дьявола ненавидел», – писал Розанов много лет спустя о. Павлу Флоренскому.

Мать, вероятно, все это видела, понимала, но, «истерзанная бессилием, вихрем замутненных чувств», встала на сторону молодого любовника, боясь его потерять. «Она была очень несчастна. Полюбила 40 лет, в старости и вдовстве, молодого семинариста, нигилиста, “образованного”, а сама была богомолка. И так ревновала. И посылала меня (7–8 лет) подсматривать, кто у него сидит, не женщина ли?» – вспоминал В. В., и с этого момента в доме и началась мерзость запустения.

«Мамаша на нас совершенно остервенелась и стала для нас хуже чужой. Мы не имеем ни молока, ни куска хлеба, ни белья, ни чистой комнаты. Я живу в настоящее время на фабрике... Сергей ходит в худых штанах, которые никто не хочет ни починить, ни вымыть, и целый день грызёт горелую корку хлеба. Василий, когда уже выпал снег, долгое время ходил в гимназию в одной визитке...» – рассказывал в одном из писем той поры брат Розанова Федор.

Виктор Григорьевич Сукач, самый глубокий и проницательный из наших розановедов, недаром заметил: «Над детством Розанова хочется плакать». И это правда. Отроческие годы В. В., его взросление, возрастание, формирование мужского характера – все выпало на этот бесконечный период и было навсегда искалечено. Он попал под каток, под поезд, маленький, не очень сильный ни духом, ни телом ребенок, «задумчивый мальчик», «каких не было никогда», впечатлительный, все запоминающий, на все отзывающийся, ничего не пропускающий мимо себя и – уходящий в мечту.

«Еще в Костроме я, бывало, забирался на сеновал, садился там на маленькую, устроенную мною качель и, раскачавшись, оставался с зажмуренными глазами и уносился мыслью далеко, далеко от той ужасной и маленькой действительности, среди которой жил... одинокий и озябший мальчик, от всех отчужденный и ничего не любящий, кроме своего чудного и горячего мира, в котором жило мое воображение», – писал он своему гимназическому товарищу Барановскому в 1886 году, а еще позднее сформулировал свое понимание мечты как своего рода убежища, неприкосновенной территории, куда никому кроме него не было хода.

«Иное дело мечта, тут я не подвигался даже на скрупул ни под каким воздействием и никогда; в том числе даже в детстве». «Мне кажется такого “задумчивого мальчика” никогда не было. Я “вечно думал”, о чем – не знаю. Но мечты не были ни глупы, ни пусты».

Этот побег в мечту Василия Розанова спас, и он единственный из розановского рода, не считая старшего Николая, студента Казанского университета, а впоследствии учителя и директора гимназии, уцелел и выбился в люди. По братьям и сестрам семейная история ударила еще сильнее.

Сестра Вера умерла в девятнадцать лет, брат Федор бросил учебу, бросил работу и стал странником, но не в религиозном смысле этого слова, а скорее бомжом. Сестра Павла была глубоко несчастна в замужестве. Брат Дмитрий попал в психбольницу (есть страшное письмо, где Розанов пишет о грубом обращении с братом, и невыносимое письмо самого Дмитрия с просьбой прислать ему хотя бы какие-нибудь обносочки). Брат Сергей рассорился со всеми и с семьей не общался. Все пошло враздробь, как чеховским интеллигентам и не снилось.

«Тут всё мертво, хотя и шевелится, и дышит. И воскресить ничего нельзя, а можно только утонуть возле этого, в связи с этим, распутывая это (...) Мы все были в ссоре (...) всё окончательно заledenело, захолодело, а главное, замусорилось. За всё время я не помню ни одной заботы, и чтобы сам о чём-нибудь позаботился. Все “бродили”, а не жили; и ни у кого не было сознания, что что-нибудь должно делать...» – писал Розанов в «Уединенном», а в письме Павлу Флоренскому прибавлял: «...как УЖАСНО мы жили в Костроме, Боже – какой это был нигилизм, какой это был холод вокруг, брат Федор (19 л.) пропивал деньги, данные “сходить в аптеку за лекарством”, сестра Павлуша (Бог ей простит) только неприличивствовала с семинаристами (“богословие” и “философия” старые), и все было до того физически и духовно ГОЛО, ПУСТЫННО, что этого нельзя выразить, нельзя вспомнить без содрогания...»

Конечно, обвинять во всех бедах розановского дома одного Ивана Воскресенского едва ли справедливо, но факт есть факт: Розанову дважды пришлось пережить распад своей семьи – в детстве и в старости. Потом к этому прибавился распад государства, и по сути вся его жизнь стала подробной фиксацией, исследованием этой тотальной катастрофы и отчаянной, бессильной и в то же время отчасти лукавой попыткой сопротивления – и в личной жизни, и в общественной. И там, и там В. В. сокрушительно проиграл, но оставил поразительное по откровенности свидетельство этого поражения, начиная с самых детских лет.

Патологии

Невыносимая, нечеловеческая жизненная ситуация семьи усугубилась в связи с болезнью матери, когда мальчику исполнилось четырнадцать. «Милой Коля, ты не можешь вообразить, в каком положении или лучше сказать состоянии она находится, – писал Розанов брату Николаю в апреле 1870 года. – Ее болезнь и страдания нельзя ни словом сказать, ни пером описать; но уже когда нельзя всего сказать или вообразить не только в письме, но даже и лично, то мы хоть что-нибудь скажем про нее, бедную, тем более что это в моем законе, ибо я не люблю ни от чего отступаться до тех пор пока не кончу. Хотя бы это было и так трудно, что и сказать не можно. Мамаша теперь не встает с постели, и лежит-то она бедная на соломе, да и то хоть бы недавно, а то уж скоро будет год, как бы ты взглянул на ее, то, я думаю, так бы и отступился назад, – одни те кости, да кожа, и я уже не знаю, наберется ли золотника $\frac{1}{2}$ крови и мяса вместе, – буквально, Коля, потому-то я и говорю тебе, чтобы ты постарался быть хладнокровным. Но все-таки, Коля, к ее чести надо сказать, что она сделалась тиха, любит нас более, чем прежде, миролюбива и ни капли почти прежнего».

Много лет спустя в письмах Эрику Голлербаху, по своему характеру мемуарных, пронзительных и одновременно адресованных юному другу как материал для будущей биографии, Розанов писал о том, как ухаживал в детстве за больной матерью: «Теперь я Вам скажу кое-что Эдиповское. Моя мама, моя мамочка, моя дорогая и милая, всегда брала меня в баню: и с безмерным уважением я смотрел на мелкие, мелкие (нарисовано) складочки на ее животе. Я еще не знал, что это остается “по одной после каждых родов”, а нас было 12 у нее. Затем: она захварывала очень медленно. У нее были какие-то страшные кровотечения, “по тазу” (т. е. вероятно и мочею). “Верочка уже умерла”, когда мне было лет 5, а Павлутка не возвращалась из Кологрива, где училась. Федор – брат был разбойник, Митя добрый и кроткий (“святой”) был полусумасшедшим – (сидел в психиатрич. больнице), а “здоровым” был слабоумным. Сереже – 3 года; а мне от 6 и до 9–10, 11 лет. Когда мама умерла, мне было лет 11 или даже 13 (1870 или 71 год). И вот, за мамой с женской болезнью я должен был ухаживать. Раз я помню упрек такой: “как это можно, что она Васю заставляет ухаживать. Неужели никого нет”. Но – *никого и не было*.

Бедность. Ужас. Нищета голая. Конечно – никакой никогда прислуги. Лечение же заключалось в том, что мешая “в пропорции” молоко с шалфеем – я должен был раза 3–4 в сутки спринцевать ее (она сидит, вся открытая) ручной спринцовкою (нарисована спринцовка), какую пульверизируют пыль. *Мистики половых органов мы совершенно не знаем*. Я делал это со скукой (“хочется поиграть”): но кто знает и испытал просто *зрительное впечатление*, вполне полное, отчетливое, абсолютное».

Это опять же к вопросу о розановских патологиях... Многим русским писателям досталось не очень простое детство, но *это* по ужасу, по страданию, по полной беспросветности, унижению и извращенности зашкаливает. Да, конечно, был Горький, которому Розанов не случайно писал: «А моя мамочка из могилы жмет Вам за сына руку: ах, какая она была бедная и измученная. Вот это целая история – и под перо бы Вам. Да и вся наша семья в Костроме – Ваш сюжет, с “лирикой”».

В горьковской автобиографической трилогии тоже можно найти немало горестных страниц, но их герой – победитель, он сильнее своих обстоятельств. Про Розанова так не скажешь. Он тоже вроде бы вырвался, добился успеха, но – покалеченный, изуродованный, больной, и эту свою рану не изжил, не излечил, а оставшись «вечным мальчиком» – так назовет он статью о самом себе, написанную к собственному 60-летию, – потащил в литературу, благо время, в которое ему выпало жить, тому располагало и всяческую темь, муть и жуть подхлестывало. Но все же самое важное в этом человеке «душевного мрака», как окрестили его современники,

не пресловутые противоречия, не порнография, не юдофобия, не христорождество и не юродство, а – страдание и сострадание («С детства мне было страшно врожденно сострадание...»), находящееся поверх всего. Вот что он вынес из Костромы, никогда не забывал, и все тридцать томов его книжек этим страданием переполнены.

И этим, кстати, он оказался очень близок к писателю из недалекого по отношению к нему будущего – Андрею Платонову, который Розанова очень ценил и одновременно с ним яростно спорил, к нему тянулся и от него отталкивался, ему следовал и его отрицал. Это – отдельная и весьма интересная тема, однако что касается сюжета розановского детства, о котором Платонов знать во всех подробностях, разумеется, не мог, то в каком-то смысле А. П. предугадал, невольно выписал Васю Розанова в выполняющем женскую работу по дому мальчишке Семене из одноименного рассказа, да и вообще в своих «детях-старичках».

И еще одно очень важное семейное обстоятельство. Незадолго до смерти Надежды Ивановны ее родная сестра Александра писала своему племяннику Николаю, старшему брату Василия Васильевича и фактически – после смерти отца – главе семьи: «Милой Коля. Потому я так долго не отвечала на твое письмо, не находила случая, чем могла обрадовать тебя и в настоящее время нет для тебя утешительного – одно то, что его (то есть Воскресенского. – А. В.) нет в доме и комнаты приведены в прежнее положение. Пожалуйста будь настолько тверд в рассудке, не принимай так близко к сердцу, на все предел Божий; верно суждено испытать твоим братьям такую жисть и надеюсь на твое доброе сердце, так наверное простишь своей мамаше как тяжело больной своей матери; она ужасно боится за тебя. Ее одно желание дожидаться тебя, но теперь просит тебя – пришли ей карточку, как ты есть в настоящем виде, очень желает видеть карточку. Я прошу за нее, пришли, если можно в первую, отходящей почтой, и даже говорила ей, что ты непременно вышлешь карточку. Конечно живого назвать умершим нельзя, но для больных опасное время будет писать ей письмо. Не оскорбляй ее, надеюсь скоро приедешь, сам можешь поговорить лично обо всем, но письмом и карточкой обрадуй. Она, как ребенок, напиши пожалуйста, когда можно иметь надежду видеть тебя. Я жду тебя, как отца семейства. Желаю тебе лучшего. Остаюсь многолюбящая тебя А. Шишкина. За все мои душевные страдания наверное исполнишь просьбу».

Судя по всему, Николай просьбу не исполнил, мамочку свою не простил, *оскорбил* ее, и для младшего брата, по которому на самом-то деле вся эта история ударила куда больнее, эта жестокость ли, принципиальность, твердость, бессердечность – как угодно можно назвать – стала очень важным, может быть, самым важным на всю жизнь *уроком от противоположного*. Василий Розанов был совсем иной породы, сердечный, снисходительный, милосердный и всепрощающий, или, по-другому, «беспринципный» – в чем его так любили обвинять – человек, и все это пришло к нему опять же в детстве. Позднее в «Опавших листьях» он напишет слова, которые обыкновенно цитируют в государственном, историческом, патриотическом масштабе, вряд ли задумываясь об их буквальном, конкретном смысле. А между тем они очевидно уходят туда, вглубь, в Кострому: «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша “мать” пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, – мы и не должны отходить от нее...»

Как не отходил от своей бедной матушки и сам Вася Розанов.

Три гимназии

Рано повзрослевшего и столкнувшегося в жизни с тем, с чем его сверстники обыкновенно не сталкиваются, отрока Василия отдали учиться лишь в двенадцать лет, хотя большинство детей поступали в гимназию, когда им исполнялось десять. Учился мальчик скверно, о чем честно писал старшему брату: «Милый Коля! Я не понимаю, как ты говоришь и на каком основании “учись лучше”. Ты ничего не знаешь, милый мой, потому, как мне кажется, так и говоришь. Я так думаю, ты забыл нашу жизнь, потому попытаюсь ее припомнить и описать ее тебе в письме. Ванька живет у нас и делает то, чего не бывало, – день ото дня становится хуже с нами; учиться мне нет никакой возможности, потому что учебных книг нет». И в другом письме: «Я, брат, учусь плохо, но на это есть свои причины; во-первых, что у меня нет трех немецких книг... я совсем не понимаю латинского языка и математики, но ты в этом меня не вини, Коля, это потому что я пропустил бездну уроков, даже и теперь не хожу в гимназию, а сижу дома».

В Костромской гимназии он проучился два года, а после этого в 1870 году, сразу после смерти матери («От бедной моей мамы – ни креста, ни фотографической карточки. Только ее и помнит “Вася”, выносивший тазы с кровью»), старший брат взял опеку над младшими Василием и Сергеем и забрал их к себе в Симбирск. «Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не подбери меня старший брат Николай... Он дал мне все средства образования и, словом, был отцом», – вспоминал Розанов позднее, хотя в «Последних листьях», опубликованных уже много лет спустя после смерти автора, есть и такая горькая запись: «Прежде всего я ненавидел брата Колю, который вытащил меня из Костромы, но имел неосторожность (в 3 кл. гимназии) подать мне 2 пальца и раз написал: «Ты все просишь денег (на карандаши и перья): но как ты сам учишься?»

Требовательный, по-прежнему не прощающий ошибок и заблуждений, Николай Васильевич работал учителем русской словесности в Симбирской классической мужской гимназии, куда и определил своего самолюбивого брата. В каком-то смысле по благу, потому что при норме в двести учащихся в гимназии училось четыреста, и все они сидели друг у друга на головах. Поскольку второй класс в Костроме окончить мальчику из-за болезни матери не удалось, ему пришлось повторить его в Симбирске, и, таким образом, отставание от сверстников сделалось еще на год больше.

Розановское отношение к отрочеству и ранней юности было сложнее, чем к костромскому детству. «С ничего я пришел в Симбирск... вышел из него со всем». Это – благодарное свидетельство более поздних лет, но в ту пору в письме товарищу по гимназии В. Ф. Баудеру Розанов писал: «Ты далеко не знаешь всей тяжести моей жизни в Симбирске. Те два года, которые я прожил там, я никогда не забуду; они наложили свой отпечаток на мой характер, совершенно исковеркав его».

И все же с точки судьбы Розанова эта гимназия («В этой подлой Симбирской гимназии совершилось мое взросление и становление») особенно важна. Он мог переехать в любой город Российской империи и учиться в любой другой гимназии, но учился именно в этой, чьей гордостью и позором несколько лет спустя станут два родных брата, два золотых медалиста. Первый будет государством в 1887 году казнен, второй казнит ровно через тридцать лет само это государство. Однако за десять лет до русской катастрофы, когда Розанов вспоминал гимназические годы, он, скорее всего, об Ульяновых не думал, но сделал одно чрезвычайно важное наблюдение: «Готовили из нас полицеймейстеров, а приготовили конспираторов; делали попов, а выделали Бюхнеров; надеялись увидеть смиреннейших Акакиев Акакиевичей, исполнительных и аккуратных, а увидели бурю и молнии».

И одна из причин тому – насильственный, казенный патриотизм и монархизм, которые вбивали детям и в головы, и в души, заставляя их каждую субботу петь перед портретом государя «Боже, Царя храни!»: «Нельзя каждую субботу испытывать патриотические чувства... Все мы знали, что это Кильдюшевскому нужно, чтобы выслужиться перед губернатором Еремеевым: а мы, гимназисты, сделаны орудиями этого низменного выслуживания. И, конечно, мы “пели”, но каждую субботу что-то улетало с зеленого дерева народного чувства в каждом гимназисте: “пели” – а в душонках, маленьких и детских, рос этот желтый, меланхолический и разъяренный нигилизм. Я помню, что именно Симбирск был родиной моего нигилизма...»

Монархист Розанов, а он, несомненно, был монархистом, да еще каким!⁴ – вынес приговор русской монархии и в этом диагнозе удивительным образом совпал с человеком совершенно иной судьбы и прямо противоположных взглядов. «Я могу отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае». Это слова Александра Ильича Ульянова на суде за несостоявшееся покушение на Александра Третьего. Он ненамного разминулся с Розановым по времени учебы, но у них были одни учителя, одни требования и принципы школьного воспитания, и они оба насильно пели по субботам гимн перед портретом монарха. Не будет большой натяжкой предположить, что пятнадцатилетний Василий мог испытывать в отрочестве не просто «смутное чувство недовольства общим строем», но полное его неприятие, да и оснований разрушить весь мир насилия у него было гораздо больше, нежели у Саши Ульянова с его милым, добрым детством в любящей семье. Но в революцию, как многие его современники, Розанов не пошел. Что-то остановило. Хотя читал Белинского, Добролюбова, Писарева, Некрасова, хотя отшатнулся от Церкви и был, по собственному признанию, «социалистишкой». Однако потом, когда Россию захлестнет новая волна террора, какая и не снилась народовольцам, эта тема станет в его сочинениях ключевой, интерес к русской революции будет очень жадным, личным, пристрастным, а учеба в гимназии не случайно будет прочно ассоциироваться в его сознании с революцией, и в предисловии к книге «Когда начальство ушло» В. В. напишет: «Какая наступала восхитительная минута, когда, бывало, надзиратель отойдет от стеклянной двери нашего класса (“пошел к другим классам”), а учитель еще в нее не вошел... Электричество, что-то лучше и быстрее электричества, пробегало по нашим спинам и плечам; и “Алгебра Давидова” летит через две парты и попадает туда, куда ей нужно – в затылок склонившегося над Кюнером толстого и ленивого ученика. Он вздрогнул, размахнулся и, может быть, ударил бы ни в чем неповинного соседа: но “несправедливость” предупреждена тем, что кто-то схватил его за волосы и пригнул к задней парте... Теперь он парализован, бессилен и вращает глазами, как Патрокл, поверженный Гектором. В другом углу борются “врукопашную”, – по возможности без шума; летят стрелы в потолок, с мокрою массою на конце их, чтобы повиснуть там; кафедра учителя старательно обмазывается чернилами, а стул посыпается мелом... Кто-то “учит слова”, если его сейчас спросят: но благоразумнейшие прищипливают “слова” к спине товарища, впереди сидящего, дабы “провести за нос” учителя, всепонятно “болвана”, и ответить урок на “3 —”, зная его на “1 + b”...

Счастливые минуты: их одни я помню из поры ученья. Все остальное было скучно, бездарно, не нужно, антипедагогично. Но эта минута “без начальства”, когда мы оставались одни... Она была коротка и гениальна».

⁴ «Мы клянемся в этой истине: народ наш не имеет и тени той любви к Государю, какую имеет Государь к народу; это – тайна истории, тайна самодержавия. Мы знаем, как народ любит Государя; видели трогательнейшие свидетельства этого, и вообще это общеизвестный факт; но вот чего никто, кроме сердца Царя, не знает: что народ, толпа, улица, площадь *in concreto* еще несравненно более любимы Царем, – как отцом более любимы дети, нежели детьми отец, опекуном опекаемые, чем опекаемыми опекун, учителем ученики, нежели учениками учитель; и вообще властное, заботящееся, мощное более проникновенно – даже до страдания – любить сирое, маленькое, сжавшееся, что, может быть, за тысячью забот и нужд своих, даже за неопытностью, за духовною неразвитостью своею, не имеет ни сил, ни умения, ни самого желания, догадки – ответить равную любовью».

Это восхитительное мятежное чувство подарила ему именно русская гимназия...

В Симбирске Розанов прожил два года и впоследствии вспоминал с благодарностью улицы, набережные, разливы Волги, Венец, речку Свягу и Карамзинскую библиотеку, где много читал и занимался самообразованием. В 1872 году переехал в Нижний Новгород, куда годом ранее отправился служить его старший брат, и Нижегородская гимназия стала в жизни В. В. третьей. В ней он проучился целых шесть лет, еще раз оставшись на второй год в седьмом классе, и отзывался о ней также не очень хорошо: «Гимназия была отвратительна... Кончил я “едва-едва”, – атеистом, (в душе) социалистом, и со страшным отвращением кажется ко всей действительности. Из всей действительности любил только книги».

А уже упоминавшемуся Василию Баудеру летом 1876 года писал: «Оставаясь по-прежнему атеистом, я теперь имею больший, нежели прежде, запас доказательств против всякой идеи о Боге, но отношусь в то же время с большим уважением ко всякой религии, и особенно христианской. Было время, когда я увлекался года полтора назад различными учениями коммунистов и социалистов, но теперь после более серьезного размышления я нашел недостатки в тех и других и составил о государстве свое собственное понятие».

Впрочем, финал гимназической истории был хорошим. «Мы, человек 9 окончивших Нижегородскую гимназию, купили рублей на 10 вин и закусок (а все были беднота) и, отправившись в лесок, на берегу Оки, во-первых, выпили это вино, съели закуски, а во-вторых, и главным образом сожгли почти все учебники».

Розановские воспоминания о Нижнем – самые нежные из всех детских и юношеских, да и позднее именно юность он называл самым светлым периодом своей жизни. Тут не только в книгах, прочитанных или выброшенных, было дело. Гимназическая дружба, разговоры, выпивка, дух свободы и пение «Марсельезы», но главное – с подростком случилось что-то вроде гётевского «суха, моя друг, теория везде, но древо жизни пышно зеленеет». В жизнь маленького книжника («Я жадно (безумно), читал в гимназии») приходит любовь, о которой он с удовольствием вспоминал в примечаниях к «Опавшим листьям».

«Леля Остафьева, 24 лет, первая, чистейшая любовь».

«Вторая любовь – Юлия Каминская... Ну что вам за дело, что она была некрасива. Для меня она была красива. Моя милая Юля... Это был прекраснейший роман, ни от кого не скрытый. Я был в VII кл. гимназии. Мы чудно читали с ней Монтескье, Бентама и немного шалили. Разумеется – в постели, лежа на спине. Потом закрывали книжки, я повертывался к ней, и мы играли. Она была чистейшая девушка 19 л., мне было 18».

А в «Мимолетном» 1914 года появится запись, основанная не иначе как на личном опыте: «...усиливался. Вспотел. И ничего не вышло. В первый раз.

На меня поднялись любящие глаза.

– Ну ничего, милый. Не смущайся. И *Рим не в один день был построен*.

Я б. поражен. Никогда не слышал *такой* исторической поговорки (очевидно, и в такой момент услышать)... Прекраснее по кротости и прощению русской девушки никого нет (*действительность*)».

О какой именно кроткой девушке идет речь, неизвестно, но известно, что следующая – такая угодно, но только не кроткая – продырявила глаза булавкой на фотокарточках первым двум. Но при этом все три были его взрослее, и самая старшая сделалась его женой⁵.

⁵ Была еще одна, возможно, самая первая и самая взрослая. Ср. о ней в «Кукхе» А. М. Ремизова: «22. 9. Был В. В. Розанов. Рассказывал: когда он первый раз это сделал – ему было 12 лет, гимназистом, а ей, хозяйке, за 40 – так на другой день с утра он песни пел». Впрочем, в автобиографическом очерке «Puer eburnus» Розанов вспоминал эту (или похожую) историю иначе: «Вдруг однажды она мне сказала:– Василий. Иди ко мне спать. Я спал на кровати с Сережей (брат). И расхохотался. Она не продолжала и потушила огонь. Мне в голову ничего не приходило. И подумать не смел, чтобы “я пришел ей на ум”. И лишь летам к 35 я догадался. “О несвязавшемся романе”. Дело в том, что лишь из последующих мне рассказов семейных людей я узнал, что к этим годам “муж уже никогда не живет со своей женой”, и она, при очень больших силах, была много лет не “евши”. Тут все поймешь и все простишь. Если бы все устроилось и в сдержанных формах – для меня наступила бы нормальная

жизнь, я поздоровел, созрел. А она была, в сущности, “покинутая мужем жена”, т. е. вдова со всеми правами вдовы. Мне было 14, ей около 36. Она – в полном цвету. Я “в возможности” до преизбыточества».

Женился на Достоевском?

История с Аполлинарией Суловой – а это именно она приревновала Розанова к его прежним пассиям, – безусловно, одна из самых ярких и драматичных страниц в биографии нашего героя, и на ней есть смысл остановиться подробнее, тем более что фантазии и спекуляции с обвинительным уклоном на эту тему продолжают по сей день и, видимо, не закончатся никогда.

Определить точную дату знакомства Василия Васильевича с Аполлинарией Прокофьевной довольно сложно. Иногда цитируют письмо гимназического товарища Розанова Константина Кудрявцева от 17 августа 1876 года: «Разве quasi-вдовушка уехала из Нижнего? Или твоя симпатичная amante изменила тебе, что люди опять начинают казаться тебе “копошащимися” червяками, и собственное твое “я” чуть-чуть не разлетается мыльным пузырем?»

Розанов, сам публикуя это письмо во втором коробе «Опавших листьях», снабжает слово amante примечанием «Должно быть – роман с Юльей (см. “Уед.”) – учительницей музыки». Что касается квази-вдовушки, то никаких авторских комментариев не последовало, однако большинство исследователей предполагают, что речь идет именно об Аполлинарии. Так это или нет, сказать трудно. В дневнике Розанов называет год знакомства с Аполлинарией Суловой – 1878-й, в письме Н. Н. Глубоковскому утверждает, что «ей было 38 лет, когда я с нею встретился в 8-м классе гимназии». В любом случае они совершенно точно познакомились в Нижнем Новгороде, ему было двадцать или чуть больше, она – на шестнадцать лет старше. За плечами у нее сумасшедшая, жадная молодость, искания, метания, знакомство с великими людьми (не только с Достоевским, тут и Герцен, и Огарев, и Бакунин), любовь, измена, литературная деятельность, публикации, интерес к острым общественным вопросам, например, к подавлению Польского восстания, несколько написанных и опубликованных повестей и переводов, заграничные путешествия, романы, расставания, разрывы и новые романы – в общем, жизнь... Однако замуж девица Сулова так и не вышла, а писать и переводить бросила. В 1868 году сдала экзамен на звание домашней учительницы, после чего открыла школу-пансион для приходящих девиц в Иваново-Вознесенске, но вмешалась полиция, на Аполлинарию состряпали донос: человек неблагонадежный, замешана в сношениях с эмигрантами, носит синие очки, волосы подстрижены, «в своих суждениях слишком свободна и не посещает церковь», и школу через три месяца, к большому огорчению местных жителей, закрыли.

В 1872 году тридцатитрехлетняя Сулова стала слушательницей Высших женских курсов при Московском университете. По воспоминаниям более молодых сокурсниц, держалась она довольно обособленно, сосредоточенно, серьезно и строго, к учительству больше не возвращалась и жила преимущественно в родительском доме. Когда отец давал деньги, путешествовала, хотя, как признавалась Аполлинария в одном из писем, Прокофий Григорьевич был ею недоволен. Надо полагать, осуждал чересчур вольный образ жизни дочери, а еще больше переживал из-за того, что Поля засиделась в девках. А она увлекалась средневековой историей, преимущественно испанской, в память о своей единственной настоящей любви к испанскому юноше Сальвадору, ради которого изменила Достоевскому, ходила по гостям, переписывалась с давней, еще с Парижа знакомой – популярной писательницей Евгенией Тур (она же графиня Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир, урожденная Сухово-Кобылина, сестра драматурга, знакомая Лескова и Тургенева, и письма этой замечательной женщины, впервые полностью опубликованные Л. И. Сараскиной в книге «Возлюбленная Достоевского» – важнейшее альтернативное свидетельство всей этой истории), выглядела чудесно и, судя по всему, без труда вскружила голову великовозрастному гимназисту, который позднее назовет ее «опытной кокеткой», раскольницей поморского согласия, хлыстовской богородицей и «Каткой» Медичи.

В провинциальном нижегородском мире, по контрасту с учительской средой, где бывал Розанов благодаря брату, эта легендарная женщина действительно производила впечатление настолько необычной, экзотичной, ни на кого не похожей, что могла показаться впечатлительному юноше сбывшеюся мечтою, перед которой померкли все прежние идеалы. Во всяком случае, как полагает В. Г. Сукач, «роман с Каменской расстроился, и, видимо, расстроился из-за увлечения Розанова Сусловой, соперничество с которой было не под силу Каменской».

Уже стало общим местом считать, что розановский интерес к Аполлинарии Прокофьевне объяснялся исключительно или главным образом тем обстоятельством, что в молодости она была возлюбленной Достоевского, и будущий «философ пола» мистическим образом соединился с любимым писателем, чуть ли не «женился» на нем.

«Самая мысль, что он будет спать с той самой женщиной, с которой когда-то спал Достоевский, приводила его в мистически-чувственный восторг», – писал писатель-эмигрант Марк Слоним в книге «Три любви Достоевского».

«В этом, бесспорно, эксцентрическом жесте можно увидеть попытку приобщиться к бурным отношениям писателя и его юной любовницы – нигилистки», – утверждает американская славистка Ольга Матич.

«Трудно сказать, что побудило 24-летнего студента жениться на стареющей, неуравновешенной женщине, но, скорее всего, сыграл свою роль ореол “возлюбленной Достоевского”, писателя, перед талантом которого Розанов преклонялся», – предположил российский розановед А. Л. Налепин.

«Розанову необходимо было видеть в Достоевском человеческое, природное, мужское, а почувствовать это можно было лишь через женщину, через физическую с нею близость. “Суслиха”, эта феминистка, в духовном отношении являвшая собой полную противоположность Василия Васильевича, давала Розанову радость общения с Достоевским, она, со своим нигилистским сознанием, невольно связывала (*через свое тело*) двух гениев русской “консервативной революции”», – сделал глубокомысленный вывод другой современный автор, Александр Беззубцев-Кондаков.

«Известно, что Розанов буквально вырос из Достоевского. Он настолько увлекся его творчеством и его личностью, что в 1880 году (то есть еще при жизни Федора Михайловича) 24-летним молодым человеком женился на стареющей Аполлинарии Сусловой (что, конечно, было более, чем экстравагантно)», – написал Дмитрий Евгеньевич Галковский, которого самого иногда называют Розановым конца XX века.

«В 1881 г. В. В. Розанов женился на Аполлинарии Прокофьевне Сусловой, пленившись ею из-за прежней близости этой дамы с Ф. М. Достоевским», – замечает в новейшей книге 2021 года «В. В. Розанов. Ближние и дальние» А. В. Ломоносов.

Что на это все сказать? Версия о «пленительной женитьбе на Достоевском», спору нет, эффектная, а с учетом огромного интереса Розанова именно к этому писателю, кажущаяся неоспоримой, интригующей, выигрышной и, безусловно, давно всеми признанной. И правда, как с ней не согласиться, если Розанов писал о своем первом прочтении Достоевского: «Я вспомнил начало знакомства с ним. Мои товарищи по гимназии (нижегородской) уже все были знакомы с Достоевским, тогда как я не прочитал ничего из него... по отвращению к звуку фамилии. “Я понимаю, что *Тургенев* есть великий писатель, равно как Ауэрбах и Шпильгаген: но чтобы *Достоевский* был в каком-нибудь отношении прекрасный или замечательный писатель – то это конечно вздор”. Так я отвечал товарищам, предлагавшим “прочитать”. Мы делали ударение в его фамилии на втором “о”, а не на “е”: и мне представлялось, что это какой-то дьякон-расстрига, с длинными волосами и маслящий деревянным маслом волосы, рассказывает о каких-нибудь гнусностях:

– Достоевский – ни за что!.. И вот я в VI классе. Вся классическая русская литература прочитана. И когда нас распустили на рождественские каникулы, я взял из ученической библиотеки его “Преступление и наказание”.

Канун сочельника. Сладостные две недели “отдыха”... Впрочем, от чего “отдыха” – неизвестно, потому что уроков я никогда не учил, считая “глупостью”. Да, но теперь я отдыхаю по праву, а тогда по хитрости. Отпили вечерний чай, и теперь “окончательный отдых”. Укладываюсь аккуратно на свое красное одеяльце и открываю “Достоевского”...

– В., ложись спать, – заглядывает ко мне старший брат, учитель.

– Сейчас.

Через два часа:

– В., ложись спать!..

– Сию минуту.

И он улегся, в своей спальне... И никто больше не мешал... Часы летели... Долго летели, пока раздался грохот за спиной: это дрова вывалили перед печью. Сейчас топить, сейчас и утренний чай, вставать... Я торопливо задул лампочку и заснул... Это было первое впечатление... Помню, центром ужаса, когда я весь задрожал в кровати, были слова Раскольникова Разумихину, – когда они проходили по едва освещенному коридору:

– *Теперь-то ты догадался?..*

Это когда “без слов” Разумихин вдруг постиг, что убийца, которого все ищут, – его “Родя”. Они остановились на секунду: и вдруг добрый и грубый бурш Разумихин все понял. *Как он понял* – вот эта “беспроволочность телеграфа”, сказанная в каком-то комканьи слов (мастерство Достоевского, его “тайна”) – и заставила задрожать меня. Я долго дрожал мелкой, бессильной дрожью...»

Юный Розанов был, безусловно, сражен Достоевским, влюблен в него, ошеломлен, раздавлен и окрылен, из чего логично следует вывод: какой же трепетной дрожью должен был задрожать восторженный мальчик, когда увидел бывшую возлюбленную своего кумира, и разве мог иметь для него значение ее возраст?

Все это так, однако то, что лежит на поверхности, что выглядит столь привлекательно и буквально напрашивается в биографию нашего персонажа, не всегда отражает ее суть. И самый первый вопрос-возражение: а с чего все взяли, что В. В. был осведомлен о тех подробностях взаимоотношений Федора Михайловича и Аполлинии Прокофьевны, которые стали известны благодаря дневнику Аполлинии и опубликованной переписке между Достоевским и Сусловой? В самом деле, откуда он мог все это узнать?

Это был все-таки XIX век, и как бы эта удивительная женщина ни была эмансипирована, вряд ли она рассказывала направо и налево о том, что Достоевский был ее любовником. Знакомым, добрым другом, поклонником – да, но любовником? Или она все-таки не удержалась и в какой-то момент похвалилась этой связью перед молоденьким гимназистом с целью выисать себя в его доверчивых глазах? Просто намекнула, дала понять? Может быть, и так, но вот вопрос: почему в таком случае сам Розанов, как только откровенно о Сусловой ни отзывавшийся, нигде именно это обстоятельство до определенной поры не подчеркивал, что с учетом его интереса к интимной сфере и любви к Достоевскому было бы совершенно органично. Но нет же! Достоевский и Суслова в известных нам ранних отзывах Розанова пересекались очень нечасто, а появятся эти упоминания лишь много лет спустя, когда Василий Васильевич и Аполлиния Прокофьевна уже давно расстанутся, когда он будет жить в Петербурге, прославится и станет творить из своей биографии легенду. А в пространном, полном претензий и упреков письме жене, написанном в 1890 году, Розанов действительно один-единственный раз упомянул Достоевского: «Но я не драпировался в свою мысль, как Вы драпировались в Вашу любовь к Достоевскому и свои вечные занятия средневековой историей, что все звучит так красиво и имеет красивый вид: тщеславная женщина, зачем Вы всякой знакомой показывали

единственное письмо Достоевского, зачем Вы не сохранили его у себя. Он Вас ценил и уважал, зачем же приписывать это к своей особе, как красивую ленту, и щеголять ею на площади...»

Однако эти обиженные, уязвленные и язвительные слова не только не раскрывают подлинный характер взаимоотношений Аполлинарии Прокофьевны и Федора Михайловича, где было больше и писем, и встреч, и событий, и чувств совсем других («уважал и ценил» к ним явно не относятся, это в чистом виде интерпретация самой Аполлинарии), но, напротив, свидетельствуют о том, что «вечный муж» Полины о сути ее отношений со своим кумиром не ведал. Сулова их тщательно замаскировала, и слово «любовь» тут не несет эротического оттенка. Свой личный дневник, в котором Аполлинария описала «годы близости с Достоевским», она, как уже говорилось, не показывала никому, включая молодого супруга. Найденная в ее бумагах после смерти и опубликованная впервые в 1928 году тетрадка стала сенсацией, что, кстати, опять же косвенно доказывает: эта связь так и осталась достоянием ближнего круга Федора Михайловича.

Как объяснить иначе, почему несколько лет спустя после разрыва с женой, представляя Аполлинарию в письме Страхову, Розанов писал: «Моя жена – старшая сестра Надежды Прокофьевны Суловой, доктора очень известного в Спб. Может быть, Вы когда-нибудь слышали о ней, п. ч. в свое время она жила в Спб. Когда я встретился с нею (в период выхода моего из гимназии), она была уже далеко от него, и все, на что я надеялся, чего ждал и к чему стремился, и на что даже намек было в окружающей жизни, я увидел в ней осуществленным. Она стояла необыкновенно высоко по ясности, твердости и светскости своих воззрений над всем окружающим, и была одинока и несчастна в то время так же, как и я все мое детство и юность: только друг в друге могли мы найти поддержку; и, несмотря на страшное неравенство лет, стали мужем и женой».

В этих достойных, точных словах нет *ни слова* о Достоевском! «Вы когда-нибудь слышали о ней, потому что она когда-то жила в Петербурге...» Прямо как в том рассказе О. Генри, где простодушная героиня приехала в Нью-Йорк, уверенная, что ей сразу же скажут, где тут живет ее парень. И это Розанов писал кому? Близкому знакомому Достоевского Николаю Николаевичу Страхову, с которым они о Достоевском часто говорили и кому накануне их личного знакомства В. В. признавался: «Я почти столько же, сколько рад буду (заинтересован) видеть Вас, буду в Вас заинтересован еще видеть человека, который близко знал Достоевского, так сказать, осязал его руками». Уж, наверное, если бы он «женился на Достоевском», то нашел бы для представления своей жены Страхову совсем другие слова, нежели упоминание о ее сестре Надежде! И точно так же рекомендуя Аполлинарию другому своему покровителю, Сергею Александровичу Рачинскому, Розанов признавался: «... в конце 3-го курса женился на Суловой, сестре известной докторши; какая-то мистическая привязанность к много пожившей Irene (Ирина из “Дыма”) “avec l’озлобленный ум”».

Опять же Тургенев – не Достоевский! И больше того, сравнение именно с этой «тургеневской женщиной» (кто помнит «Дым» – поймет, о чем идет речь) начисто убивает само предположение о том, что Сулова хоть как-то ассоциировалась на тот момент в сознании В. В. с Достоевским и его героинями. Они все появятся позднее. Но самое интересное в этом сюжете то, что и Страхов, получив розановскую аттестацию Аполлинарии Прокофьевны, ответил своему подопечному в духе О. Генри: «Выходит, что Вашу жену я видел не раз когда-то, в 1861, 1862 годах. Она была очень молода и очень красива. Все еще никак не понимаю Ваших отношений, но от души желаю Вам спокойной и чистой развязки».

Николай Николаевич действительно видел Сулову много раз, потому что был сотрудником того самого журнала «Время», куда впервые пришла двадцатилетняя Аполлинария и где были напечатаны ее первые довольно слабые произведения исключительно на том основании, что молодая писательница полюбила брата главного редактора. Страхов об этом не мог не знать, как не мог не знать и о совместных путешествиях Достоевского и Аполлинарии Проко-

фьевны по Европе. Но ни он Розанову об этом ни одной строки не написал, ни тот больше ни о чем не спрашивал. Странно, но факт! Они оба ходили вокруг этой темы близко-близко и – не касались ее. Боялись, избегали тронуть, таились, тактично промолчали или – попросту не придавали значения?!

Загробное чтение

Единственный по-настоящему серьезный аргумент в пользу расхожей версии о розановской женитьбе на Сусловой как любовнице Достоевского – свидетельство замечательного писателя Сергея Николаевича Дурылина, который был очень дружен с Розановым в последние годы жизни Василия Васильевича. Дурылин в своих воспоминаниях, вошедших в книгу «В своем углу», ссылается на некое письмо, которое Розанов передал ему незадолго до смерти и велел открыть и прочитать своим домашним, когда его не станет. Сергей Николаевич так и сделал, собрав вдову и взрослых дочерей, которые, по версии Дурылина, только тогда про первый брак их мужа и отца и узнали, и позднее изложил свое впечатление от этого письма, которое, к сожалению, как он пишет, не сохранилось.

«В<асилий> В<асильевич> ранее рассказывал мне как-то, что женился на Сусловой потому, что она была любовницей Достоевского. Это был брак от “психологии”, брак по Достоевскому, – но совсем не по Розанову, не по автору “Семейного вопроса” и “В мире неясного и нерешенного”. Брак – из романа Достоевского, а не из лона Авраамова. Она была старше его на 16 лет: она уже сильно “пожила”, – не только с Достоевским, но (знал ли это В<асилий> В<асильевич>, когда женился?) и с нигилистами, и с иностранцами, и с красивыми испанцами. Об этих “испанцах” в письме не было, это я знаю уже из книги, заглавие которой выписано выше, но в письме было яркое, мучительное до боли, просто стонущее противопоставление того, что Розанов искал и что нашел в 40-летней даме с нигилизмом. Романтика: “та, кого любил Достоевский!” – оборвалась, психология по Достоевскому вдруг обернулась психологией тончайшего, непрерывного женского мучительства. Произошло недоразумение, идущее до глубины, расщепляющее саму жизнь: несмотря на “романтику”, на “Достоевского”, он-то искал брака не по психологии, а по онтологии, а сам оказался в плену у брака по психопатологии. Вместо греющего добрую плоть нежной семейственности “Бога Авраама, Исаака и Иакова” оказалось озлобленное безбожие шестидесятницы с постелью “принципиально” бездетной; вместо возлюбленной и нежной – озлобленная, умная, как бес, и злая, как бес, полу-нигилистка, полу-Настасья Филипповна (из “Идиота”), кому-то и чему-то непрерывно мстящая; вместо чаемой “колыбельной песни” в спальне раздавался психопатологический визг стареющей, ломаной и ломающейся женщины – “непрерывным раздражением пленной мысли”, озлобленной души, стареющей плоти. Начался ужас. Этот ужас сквозил в каждой строке, в каждом слове, в каждом вздохе этого письма, – и я не могу лучше и точнее выразить этого ужаса, как сравнением: тот, кто хотел возлечь, как герой “Песни песней”, на нежном и плодящем лоне, входящем в неистощимое, присно рождающее и святое лоно Авраамово, тот оказался прикованным к колющей постели стареющей, бесплодной, чувственной и истеричной нигилистки, мстящей Достоевскому, как Грушенька своему покровителю.

Течение письма прерывалось восклицаниями: “Она измучила меня! Она ненавидела меня!” {В дневнике Суслова писала 24.IX.1864 г.: “Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания” (с. 923). – *Прим. мемуариста*} (Достоевский предупреждал ее: “Если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа”).

Теперь, когда с ним была Варвара Дмитриевна, все это видел В<асилий> В<асильевич> и мог кричать это ей с особой силой, так как в Варваре Дмитриевне он нашел то нежное, пробуждающее мудрость и дающее покой – лоно, которого искал и у той, но нашел нигилистиче-ские иглы вместо лона.

Письмо было потрясающее. Любовь и ненависть, благословения и проклятия сплелись в нем. В нем был крик спасшегося от гибели, крик с берега, – волне, которая только что была,

хлестала его, чуть-чуть не разбила о камень, и вот он все-таки выбрался на берег, жметя к тихому и теплomu лону земли, а волне шлет проклятия.

Когда чтение было окончено, Варвара Дмитриевна – земля с тихим и теплым лоном – приняла у меня письмо, – заплакала – тихо и кротко.

Все молчали.

Мы поняли все смысл этого загробного чтения: В<асилий> В<асильевич> хотел, чтобы и дочери его знали, кто был быющей о камень волной и кто был прекрасно-творящей землей в его жизни.

Что стало с этим изумительным письмом (гениальным с точки зрения словесности), я не знаю».

Написано не менее изумительно, убедительно, поэтично и образно, как и всё у этого автора. Только надо иметь в виду, что сей дивный пассаж есть не что иное, как полемическая реакция Дурылина на вступительную статью литературоведа А. С. Долинина к публикации того самого дневника А. П. Сусловой «Годы близости с Достоевским», в которой (статье) Долинин берет Суслову под защиту от двух ее великих мужчин.

«Что за странная таинственная сила была в этой натуре, если и второй, почти гениальный человек, так долго любил ее, эту раскошницу поморского согласия, так мучился своей любовью к ней?» – вопрошал публикатор, и Дурылину это заступничество пришлось не по нраву. Особенно тот факт, что Долинин ставил под сомнения некоторые высказывания Розанова в адрес первой супруги. «Повторяем, мы имеем все основания с самого начала относиться несколько настороженно к характеристике, данной ей Розановым: факты, им же сообщенные, говорят против него. “Она исказила навсегда весь его характер и всю его деятельность”: – тогда ли, в те шесть лет, когда была его женой, или тем, что бросила его? И когда она стала для него “циничной”?» – писал Аркадий Семенович.

Вот тогда-то трижды романтический Сергей Николаевич, считавший себя в каком-то смысле розановским «душеприказчиком», и возвысил голос, и уронил слово горькое в ответ: «И вдруг, как отошедшая ужасная боль, припомнилось ему в “лоне Авраамовом” то, что до безумия противоположно было этому лону и в чем он жил шесть лет: счастье из глубин онтологии представило ему до ясности недавнее “счастье”, искомое в психологии, – и какой еще! В “психологии” бывшей любовницы Достоевского, 40-летней женщины, про которую можно было бы повторить евангельские слова: “У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе”».

И чуть дальше: «Когда В<асилий> В<асильевич> нашел свою Рахиль, свою Варвару Дмитриевну, он понял, что с нею нашел свое гениальное писательство, нашел себя, счастье свое и семью, – но, обретши Рахиль, понял также, что до Рахили у него была не кроткая, хотя и не любимая Лия, а неистовая Медея. Муки от Медеи, претерпленные Иаковом, всегда мечтавшим иметь нежно возлюбленную Рахиль, – вот – в свете книжки о Сусловой – все содержание того письма, которое я читал по воле В<асилия> В<асильевича> самой этой Рахили и чадам ее, когда уже самого Иакова не было в живых. Медея – на то она и фуриозная особа – не могла перенести, что оставивший ее Иаков счастлив со своей Рахилью, – и, как и подобает Медее, мстила не только Рахили, но и детям их. На детях-то и проявляется нарочитая Медея мечь: пусть будут без законного отца (как ненавидел В<асилий> В<асильевич> эти слова: “незаконные дети” и “законные дети”), с поношением подвергающейся матерью, пусть будут они без имени. Так Медея мстила почти двадцать лет; старуха под 70 лет, она настолько не теряла своей фуриозности, что всякие виды выдавший, твердый мужчина победоносцевской школы, Тернавцев воскликнул не менее фуриозно: “не баба, а черт в юбке”».

Речь о второй женитьбе Розанова пойдет в свой черед, но все же стоит заметить, что В. В. никакой тайны из первого брака никогда не делал и его домашние узнали о нем много раньше (см. далее воспоминания младшей дочери Розанова Надежды Васильевны), и трудно

поверить, чтобы ему потребовалось так театрально эту сцену обставлять. Не в розановском это стиле, да и в подробных «Троицких записях» (то есть фактически в дневнике Дурылина за 1919 год) никаких упоминаний о подобном письме и столь важном семейном разговоре нет⁶. Оно появилось лишь в более позднем полемическом мемуаре.

Однако даже если Розанов нечто подобное и написал, то опять-таки лишь в конце своей жизни, подводя горестные семейные ее итоги, проклиная одну женитьбу и идеализируя другую (на самом деле далеко не идеальную, и единственный возможный посыл такого письма – мольба о прощении у Варвары Дмитриевны и дочерей, перед которыми он чувствовал вину). Изначально же его отношение к фуриозной первой жене было иным и – больше того, – даже если я не прав и В. В. об этой связи знал⁷, все равно сводить его юношескую влюбленность в Аполлинарию, плененность ею исключительно к ее давнему роману с Достоевским – в высшей степени несправедливо, неразумно, некорректно и есть, согласно «бритве Оккама», не что иное, как умножение числа сущностей сверх необходимого.

Полина, мой читатель, была хороша сама по себе!

⁶ Зато есть такая запись от 13.03.1919: «13 го. Вьюга. Вчера отнес Розановым пакет В. В-ча с надписью: “Дневники и записные книжки. Воскресенье после смерти”. Оказались – статьи, письма, 1 записная книжка». А месяц спустя в записи от 8 апреля 1919 года Дурылин воспроизводит свой разговор со вдовой Розанова Варварой Дмитриевной Буягиной, из которого следует, что это она рассказала ему о первом браке писателя: «Он был как ребенок. На первой жене из жалости женился. Ее принимали все за его мамашу. Ему нужно было к кому-нибудь прижаться».

⁷ Тут, конечно, нельзя не сослаться на письмо Розанова к Глинке-Волжскому, в котором В. В. воспроизвел свой диалог с Аполлинарией. «С Достоевским она “жила”. – Почему же вы разошлись?.. – Потому что он не хотел развестись с своей женой, чахоточной, “так как она умирает”... – Так ведь она умирала? – Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я уже его разлюбил. – Почему разлюбила? – Потому что он не хотел развестись... Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула...» Но опять же, если подобный диалог и имел место, то я почти уверен, что не в самом начале их знакомства.

Людская молва

Эту женщину повелось демонизировать и обзывать страшными словами. Еще хуже, чем самого Розанова, и дурьинский мемуар – ярчайшее тому доказательство⁸. И если в случае с Федором Михайловичем еще как-то жалеют за молодость и вспоминают к месту и не к месту Настасью Филипповну, Катерину Ивановну или «Полину» из «Игрока», то в истории с Василием Васильевичем жалеть как будто не за что. Связался черт с младенцем, или, как выразился философ Владимир Тернавцев в воспоминаниях Зинаиды Гиппиус: «Дьявол, а не Бог сочетал восемнадцатилетнего мальчишку с сорокалетней бабой!» Сам В. В. позднее иронически вспоминал о том, как «потянулся, весь потянулся к осколку разбитой “фарфоровой вазы” среди мещанства училищек (брат был *учитель*) и вообще “нашего быта”».

Проблема, как уже говорилось, заключается лишь в том, что в основном все наши сведения об этой паре мы черпаем из более поздних писем и воспоминаний Розанова и о Розанове, очень обиженных, зачастую неверных и рисующих картину весьма одностороннюю. Нельзя не согласиться с автором превосходной биографии Аполлинии Прокофьевны Л. И. Сараскиной, когда исследовательница с присущим ей обостренным чувством справедливости писала: «Именно от Розанова, исключительно пристрастного к ней человека, а через него – от людей из его ближайшего окружения известны некоторые специфические подробности второй половины жизни А. П. Суловой. Авторитетнейшие друзья и знакомые В. В. Розанова, писавшие о его первой (“плохой”) жене, среди которых была даже поэтесса и литературная львица Зинаида Гиппиус, поставили на Аполлинии Прокофьевне несмываемое клеймо: “исчадие ада”, “железная Аполлиния”, “тяжелая старуха”, “страшный характер”, “развалина с сумасшедше-злыми глазами”. Молва, идущая из этого же источника, была к ней беспощадна, приписав “старухе Суловой” не только дурной характер (она и впрямь была далеко не ангел, но кто же ангел?), но и тяжелый деспотизм... фактом своего разрыва с Достоевским (равно как и фактом разрыва с Розановым) она как бы лишила себя исторического покровительства, а имя свое – благодарной памяти: статус “бывшей” возлюбленной или “бывшей” жены традиционно считается слишком эфемерным, чтобы быть неприкосновенным для злых языков. Женщине, самовольно вышедшей из любовного союза с гением, история ничего хорошего не гарантирует... Она оказалась беззащитна против публичных интерпретаций своей брачной жизни с

⁸ Ср. у Дурьина: «Жить с нею долее значило бы для него не стать Розановым, автором “Семейного» вопроса”, “В мире неясного”, всего, что писано им о поле и браке. Против нее вопияла вся его онтология, все зерно его писательства, дремавшее в нем и вырвавшееся наружу не пустоцветом (“О понимании”), а истинным цветением и плодом только с Варварой Дмитриевной: нашел он Рахиль свою – нашел и гений свой. Связано. Накрепко. Неразрывно. Вот кто была его Музой всегда – Рахиль бесписьменная, тихая, без шумной “близости” с Достоевским, без знакомства с Герценом и его Тучковой-Огаревой, но зато без “испанцев”, без “психопатологии”, с одной мудрой онтологией “ложе нескверного”, – с любовью великою, – вот кто была его музой – Варвара Дмитриевна. Этого тоже не могла никогда простить Медея. Она спала с Достоевским, рассуждала с Герценом, и вдруг от нее и при ней ничего, ничего не явилось розановского – ничего, кроме огромного – далекого от гения Розанова – трактатища “О понимании”, а при этой – при семейственной, скромной Рахили, которая с Герценом не только не разговаривала, но и не читала, рождается не только ребенок за ребенком с лона, не оскверненного ни с каким испанцем, но и книга за книгой рождается у Розанова, – и какие книги: “Легенда о Великом Инквизиторе” (СПб., 1893), “Сумерки просвещения”, “Религия и культура”, “Природа и история”, “В мире неясного и нерешенного”, “Литературные очерки”, “Около церковных стен” и т. д. Как же это перенести книжной Медее, что русская литература ей ничем не обязана, а скромной Рахили – всем? Впрочем, и ей обязана русская литература: ее, Медейной, мстью детям Розанова, ее упорным удерживанием этих детей от Рахили на положении “незаконных” (“законными” были бы дети от бесплодной Медей) вызвана та страстная защита прав “незаконных детей”, которую Розанов повел так горячо и твердо в “Семейном вопросе в России”, в газетных статьях, что из русского законодательства исчез самый термин “незаконнорожденные”. А она, действительно, имела в себе что-то фурioзное, – даже до комизма. Медею свойственно возиться с ядами. Она и тут не отступила от греческого прообраза. “Потом она (Медея № 2: ‘Тучкова-Огарева’, перешедшая к Герцену —) просила меня достать ей яду через моего доктора. Я, как особа без предрассудков, гуманная и образованная (– Медею ли стесняться в высокой оценке самое себя!), обещала ей, но я не знала, как было приступить к моему доктору с такой просьбой...” (с. 119). С добытчицей ли яда было жить бедному Василию Васильевичу, человеку семейному и тихому, с рыжей бородашкой и папирской во рту?»

В. В. Розановым – со стороны самого Розанова, который, кажется, не оставил без комментария ни одну, даже самую интимную, из деталей их брака».

Именно так все и было, и если обратиться к скучным документам начальной поры этой любовной истории, то акценты получаются другие. Татьяна Васильевна Розанова, старшая дочь писателя, процитировала в своих воспоминаниях юношеский дневник отца, и в нем есть такая запись: «Декабрь, 1878 год. Знакомство с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой. Любовь к ней. Чтение. Мысли различные приходят в голову. Суслова меня любит, и я ее очень люблю. Это самая замечательная из встречающихся мне женщин. Кончил курс. Реакция против любви к естествознанию. И любовь к историческим наукам, влияние Сусловой, сознание своих способностей к этому...» В 1886 году Розанов писал своему гимназическому товарищу про жену, которую любит «непостижимо, мистическою любовью». В других документах он называет ее гениальной, гордой, безудержной, фантастической, а свою любовь к ней слепой и робкой (и заметим, опять-таки ни там, ни там вне какой бы то ни было связи с Достоевским).

Полина действительно сыграла огромную роль в его судьбе, и не только разрушительную, но и созидательную. Не только забирала у него, но и давала. В каком-то смысле предопределила его путь, и не только в будущих розановских несчастьях, но и в его успехах есть ее несомненная заслуга. Что бы ни говорил В. В. позднее про осколки разбитой вазы, как бы ни ругал и ни проклинал Аполлинарию Прокофьевну за ее мстительность и неуступчивость⁹, что бы ни сочинял пристрастный Дурылин про стареющую, бесплодную, истеричную, озлобленную нигилистку, эта женщина направляла, вдохновляла, руководила Розановым тогда, когда это руководство было ему крайне необходимо. Вспомним фразу князя Курагина из «Войны и мира»: «Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин». Или как еще более точно вспоминал Лев Николаевич слова своей тетушки: «Ничто так не формирует молодого человека, как связь с женщиной порядочного круга». А Суслова таковою была. Пусть порядочность крестьянской дочери с ее взрывным характером была весьма своеобразной, все равно ни одна, даже самая лучшая гимназия, библиотека, университет не смогли бы дать Розанову того, что дала в какой-то момент она. Ее начитанность, остроту ума, ее стиль, натуру он всегда признавал, именно она сформировала Розанова, вынянчила, выпестовала, взрастила, подготовила, была его самой первой литературной «нянькой», и оценка ее личности в розановском письме Страхову тому порукой.

Аполлинария сумела занять его внимание, воображение, и, наконец, у них, что называется, было время проверить чувства. От знакомства до венчания прошло как минимум три года. За это время Розанов окончил, наконец, гимназию, уехал в Москву, сделался студентом Московского университета, отучился два курса и перешел на третий (именно на третьем курсе студентам дозволялось вступать в брак). Он мог сто раз свою нижегородскую любовь забыть, поменять, потерять, да и она могла к нему охладеть, одуматься, опомниться – на черта ей сдался этот бедный во всех смыслах слова сосунок с его детскими травмами, комплексами и обидами. Неужели нельзя найти более солидную партию при том, что она вовсе не была бесприданницей? Но нет же! Для влюбчивых натур обоих – это было достижение, подчеркивающее неслучайность их романа. А разница в возрасте и в жизненном опыте странным, фантастическим образом рифмовалась в его судьбе с судьбой его матери и ее связью с «мыслящим реалистом» Иваном Воскресенским, а в ее – с мучеником и мучителем Достоевским, когда юной Поле было чуть больше двадцати, а Федору Михайловичу около сорока. Совпадения, но какие важные!

⁹ Ср. в письме Б. А. Грифцову в 1911 году: «Женитьба... Ужасное несчастье. Прямо огненная мука, позор, унижение. 1-ая жена моя какая-то “французская легитимистка”, на 18 лет меня старше, талантливая, страстная, мучительная, я думаю – с психозом, который безумно меня к ней привязал».

Неравный брак

В отличие от тех сюжетов, этот закончился венчанием, хотя, наверное, с точки здравого смысла и дальнейшего развития событий было бы лучше, если бы они действительно расстались, Аполлинария Прокофьевна вовремя отпустила бы Василия Васильевича с миром и осталась бы в истории русской литературы Музой без страха и упрека двух замечательных людей, про которую никто потом не станет писать ни гадости, ни глупости. Однако вышло иначе. В 1900 году в автобиографическом очерке «Иван Ляпунов» Розанов вспоминал свою тайную поездку из Москвы в Нижний «по делам любви и по делам брака».

«По некоторым обстоятельствам, затевавшийся роман был не только рискован, но он был рискован чрезвычайно, безрассудно, был похож на спуск воинов Аннибала “по ту сторону Альп”, когда половина или треть их попадала в пропасти. Нужно заметить, особенностью моего влюбления было всегда чувство особенной привязанности, прилипчивости, неспособности отстать, и это был *fatum*, роковое. Странно: гордый и самоуверенный человек, человек очень умный, как смею рекомендоваться читателю, я привязывался, как собака, и пока другая сторона не освобождалась от своей ко мне любви, этого было совершенно достаточно, чтобы я никогда не освободился от своей. Но при этой слабости сердца ум сохранял полную живость. Что мы идем куда-то в бездну, было видно и мне и ей, но мы оба ничего об этом не говорили – не говорили, конечно, друг с другом, а про себя каждый непрерывно об этом думал. И вот она мне написала в Москву грустное письмо, что она уезжает, уезжает далеко и надолго, так как, кроме печали, из нашей связанности ничего не выйдет и разойтись вовремя лучше. Письмо было исполнено любви. “Разойтись”... Тут и выступил мой *fatum* в связи с рассудительностью. Защемило сердце. Любовь – это феникс. Тонет, тонет в небе, дальше, выше, ничего не видно, а сердцу больно, больно! “Как разойтись! Никогда!” И в длинном письме рассудительный мой гений начертил всю карту неблагоприятного будущего плавания, камни, рифы, мели, ураганы, туманы, но – “ничего, силы есть, и я выплыву, мы выплывем”. Тут и разыгралась история: “Как, так ты все видишь! Как лавочник, ты измерил аршином любовь, произвел вычитания и сложения и подвел итог, и подал мне мелочной счет на засаленной бумажонке”. Зачем я вижу! Боже, но ведь куда мне деть глаза! Быстро обменялись мы еще письмами, желчными, неумолимыми, а слабое сердце во мне все ныло, и, бросив все, перехватив откуда-то 15 руб., я сел в вагон и мчался *incognito*. Там все решится, там увидим...”

Тогда и было принято роковое решение.

«Мой первый брак был основан на словах, в морозную ночь, невесты-жены... Когда мы дошли до ворот ее дома, я сделал ей предложение. Она заплакала:

– Уже поздно. Мне 38 лет (мне было 19). Будем лучше так жить.

– Нет! Нет!

И мы стали “муж”, “жена”».

В этих более поздних строках из письма Розанова Павлу Флоренскому хромает арифметика (В. В. был очевидно на момент предложения старше, да и разница в возрасте с Аполлинарией составляла все-таки не 19, а 16 лет), и тем не менее в такой диалог вполне можно поверить. Больше того, при желании можно увидеть и в очерке, и в письме отменно разыгранную Аполлинарией партию принуждения к браку – угроза разрыва, женская обида, укоры, упреки, тайно примчавшийся молодой любовник (он ужасно боялся, что узнает его старший, правильный брат, который был против этого союза), счастливое объяснение в «номерах Бубнова» в Нижнем и авторское признание постфактум: «хотя позднее я узнал, что это была одна из мрачайших душ, истинно омраченных, непоправимо: но на день, на неделю, как сквозь черные тучи солнце, душа эта могла сверкать исключительно светозарно».

Вот за эту редкую исключительную светозарность Аполлинии Прокофьевны В. В. и расплачивался всю жизнь. Но это был – *его* выбор.

«...сошлись 2 несчастные существа и привязались друг к другу в каком-то первом экстазе; экстаза хватило года на два, затем наступили годы сумрака, который темнел все больше и больше... в браке моем, т. е. в побуждениях к нему, все было исключительно идейное, с самым небольшим просветом простой, обыкновенной любви, и то лишь с надеждою на самое короткое ее продолжение», – писал он позднее Страхову. Эти строки тем более важны, что в дальнейшем Розанов отзывался о Суловой крайне пренебрежительно, грубо, даже цинично.

«Мы с нею “сошлись” тоже до брака. Обнимались, целовались, – она меня впускала в окно (1-й этаж) летом и раз прошептала: – Обними меня без тряпок. Обниматься, собственно дотрагиваться до себя – она безумно любила. Совокупляться – почти не любила, семя – презирала (“грязь твоя”), детей что не имела – была очень рада, – писал он А. С. Глинке-Волжскому. – Меня она никогда не любила и всемерно презирала, до отвращения. И только принимала от меня “ласки”. Без “ласк” она не могла жить. К деньгам была равнодушна. К славе – тайно завистлива. Ума – среднего, скорее даже небольшого. С нею никто не спорил никогда, просто не смел. Всякие возражения ее безумно оскорбляли. Она “рекла”, и все слушали и восхищались “стилем”».

«Я полюбил ее последний день, и хотя она соглашалась любить и жить со мной “так” (и была уже), я (ведь знаете мальчишеский героизм) потребовал венчания...» – вспоминал в письме Н. Н. Глубоковскому.

«Лицо ее, лоб – было уже в морщинах и что-то скверное, развратное в уголках рта. Но удивительно: груди хороши, прелестны – как у 17-летней, небольшие, бесконечно изящные. Все тело – безумно молодое, безумно прекрасное. Ноги, руки (не кисти рук), живот особенно – прелестны и прелестны; “тайные прелести” – прелестны и прелестны. У нее стареющим было только лицо. Все под платьем – как у юницы – 17–18–19 лет, никак не старше. В сущности, я скоро разгадал (“потрогай меня”), что она была онанисткой, лет 20, т. е. с 18. Я это не осуждаю. “Судьба”. И “что делать старым девушкам”. Скорее от этого я еще больше привязался к ней».

Впрочем, стоит отметить, что все отзывы В. В. о жене остались исключительно в его частной переписке, да и шли они от более поздних обид, взаимного раздражения, от розановского интереса к «тайне пола» и даже напускного щегольства интимными подробностями, до которых он сделался так охоч после сорока. Однако в молодости с его стороны это было чистое восхищение, влюбленность, тяга. А с ее?

Что она искала в этой любви, какой уже по счету в ее жизни? Угадала в нем тот же мерцающий огонь гениальности, что когда-то и в Достоевском? Или Розанов был прав и это был ее «последний час»? К сожалению, в архиве Аполлинии Прокофьевны не сохранились или же до сих пор не найдены ее свидетельства о Розанове, однако Л. И. Сараскина опубликовала в своем исследовании в высшей степени примечательное и в отличие от других источников довольно редко цитируемое обиженное письмо, которое В. В. написал своей жене в 1890 году, через несколько лет после их разрыва.

Альма-мачеха

«Вы рядили в шелковые платья и разбрасывали подарки на право и лево, чтобы создать себе репутацию богатой женщины, не понимая, что этой репутацией Вы гнули меня к земле, сделали то, что в 7 лет нашей счастливой жизни я не мог и глаз поднять светлых и спокойных на людей, тревожно искал в их словах скрытой мысли – не думают ли они, что я продал себя Вам за богатство. Все видели разницу наших возрастов и всем Вы жаловались, что я подлый распутник; что же могли они думать иное, кроме того, что я женился на деньгах... Легко мне было... Сынок со стороны, ждущий наследства... Вы хвастали, что содержали меня. Я и жениться решился на Вас, только получив стипендию, мысль, что на меня будут смотреть как на женившегося на деньгах, жгла меня еще до брака».

И опять мотив унижения, придавленности, а точнее – ощущение этого унижения, болезненная реакция на один только намек, будто бы он женился из-за денег. К этому письму мы еще обратимся, а новой загадкой в розановской судьбе становится его учеба на историко-филологическом факультете Московского университета. Тут возникает сразу несколько вопросов. Как он решился туда поступить с очень посредственным аттестатом, в котором в основном были тройки, включая русскую словесность и историю? Почему выбрал именно Московский, а не Казанский, где учился его старший брат? Почему не петербургский? Ведь в девятнадцатом веке такой абсолютной славы у МГУ (а, впрочем, он назывался тогда не государственным, а императорским) не было. Или же на его выбор повлияла Суслова? Последнее представляется более чем вероятным, потому что именно в Москве на университетских женских курсах профессора Герье одно время училась Аполлинария, и это был тот самый Владимир Иванович Герье, кто будет читать лекции и Василию Розанову, а впоследствии станет его адресатом. Вот, кстати, еще один «Поленькин» след в розановской судьбе.

Но самое главное – почему университетские годы, в отличие от гимназических, прошли для Розанова практически бесследно? Если верить его свидетельствам, то университет он «проспал». На «постылых» лекциях ковырял в носу, отвечал по шпаргалкам, что тоже выглядит довольно странно, ибо в эту пору там читали лекции Буслаев, Веселовский, Тихонравов, Фортунатов, Соловьев, Ключевский, Корш, Герье, Цветаев¹⁰. И тем не менее о гимназии и гимназистах, гимназических учителях Розанов писал много, страстно, нервно, восхищенно (один только «опавший лист» чего стоит: «Если что из “Российской державы” я оставил бы, то гимназистов. На них даже и “страшный суд” зубы обломает»), а про университет, про студенчество и профессию таких слов не найти.

Эти годы и в самом деле канули, если не считать более поздней статьи об университетском образовании. Но это статья, а в нижегородской анкете он прямо написал: «В университете (историч. – филолог. факультет) я беспричинно изменился именно, я стал испытывать постоянную внутреннюю скуку, совершенно (безграничную), и позволю выразиться – “скука родила во мне мудрость”. Все рациональное, отчетливое, явное, позитивное мне стало скучно. “Бог весть почему” профессора, студенты, сам я, “свое все” (миросозерцание) скучно и скучно». И еще более резко высказался в письме Страхову: «Из университета я вышел с глубоким отвращением к преподаваемой науке». В письме Константину Леонтьеву университет просто изничтожил: «Я рад, что Вы браните профессоров и студентов; первое условие для ищущего истины

¹⁰ Впрочем, позднее его отношение к университету сделалось более благосклонным. «Хорошее было время в университете в смысле профессоров, – писал он в 1916 году в статье «Еще – памяти русского историка (О С. М. Соловьеве)». – Тогда процветали в университете: С. М. Соловьев и сменивший его вскоре В. О. Ключевский, Вл. Ив. Герье... П. Г. Виноградов... И украшая университет, украшали Россию». Ср. также в воспоминаниях Анастасии Цветаевой: «Когда Розанов узнал, что урожденная я Цветаева, он радостно сообщил мне, что он вправе считать себя учеником папы, что слушал курс его лекций и никогда не забудет его ни как профессора, ни как человека».

человека – это презрение к нашим университетам, переполненным краснощекими и вертлявыми мальчишками вверху и внизу. Это умственные и часто вообще духовные проститутки – и только. И как это сделалось – непостижимо, удивительно!»

«Все эти Бруты и Гармонии с обликом молодой купчихи были нам эстетически противны», – написал он в программной статье «Почему мы отказываемся от наследства 60–70-х годов?». А еще несколько лет спустя в весьма любопытном, хотя и куда менее известном сочинении «Университет в образовании писателей» проводил черту между теми, кого университет действительно воспитал, выучил, образовал, и теми, кому никакое университетское образование вовсе и не нужно. «Отнимите у Волынского университет – и ничего не останется; отнимите университет у Лескова или констатируйте, что он не был в университете, – и вы у него ничего не отнимете не только как у художника, но и как у ума, умного человека, у образованного человека; или – почти ничего. Он был умен внутренним умом и образован внутренним образованием... читая его “На краю света”, “Запечатленный ангел”, читая проводы в Колыванский край одного обрусителя – учиться и учиться у него. Лесков, это – училище, сокровище ума, образования, размышления, не говоря уже о наблюдательности; он возбуждает бездну теоретических, так сказать, “университетских” вопросов и, очевидно, чрезвычайно многое для себя “университетски” же, со строгостью профессора, но и еще с прибавкою таланта, разрешил».

Не будет большой натяжкой предположить, что так писал В. В. не только и не столько о Лескове, сколько – о самом себе...

Ну ладно учеба, лекции, университет же не только про это. Насколько общительным, дружелюбным и любвеобильным юношей был Розанов в Нижегородской гимназии, настолько аскетично жил он в Москве. «Я был скромный, тихий в университете. “Ничего не желал”», – признавался он позднее в «Мимолетном». И в самом деле, ни большой студенческой дружбы, ни приятельских пирушек, ни возлияний. Разве что бессмысленное обжорство. Так, в 1900 году в статье «Из житейских воспоминаний» Розанов писал: «После лекций мы отправлялись на Арбат в кухмистерскую. Ели тупо, много и безразлично, заглушая все перцем и больше налегая на хлеб. Также тупо отяжелелые шли на Никитскую в свой третий этаж и закладывались спать».

Разве такими словами он описывал три свои гимназии и их учащихся? Возможно, здесь сказалась разница в возрасте, ведь Розанов поступил в университет в 22 года, отсюда и вертлявые мальчишки в письме Леонтьеву, ни одного известного нам любовного романа («В университете я почти уже не знал любви... я, собственно, был тем же гимназистом, т. е. робким, застенчивым, нелюдимым и крайним фантазером») – или же... все поглотила Аполлинария, на которой он женился в ноябре 1880 года, и от той поры сохранилось несколько документов, впервые опубликованных Виктором Сукачем.

«Его превосходительству Господину Ректору Императорского Московского Университета от студента III курса историко-филологического факультета Василия Розанова

ПРОШЕНИЕ

Желая вступить в брак с девицей Аполлинарией Прокофьевной Суловой, я покорнейше прошу Вас, Ваше Превосходительство, сделать необходимое распоряжение для выдачи мне метрического свидетельства. Для удостоверения в согласии на этот брак ее родителей прилагаю при этом прошении разрешение от ее отца и матери; со своей же стороны не могу сделать этого, так как и отец, и мать мои давно умерли. Прошу также выдать мне удостоверение о нечинении препятствий к браку со стороны Университета.

Студент историко-филологического факультета III курса Василий Розанов. Метрическое свидетельство за № 1826 получил и обязуюсь возвратить в скором времени.

Студент В. Розанов

1880 г. 10 ноября».

«Мы, нижеподписавшиеся, мещанин г. Горбатова Прокофий Григорьев Суслов и жена его Анна Ивановна, не имеем ничего против брака нашей дочери, домашней учительницы, девицы Аполлинарии Прокофьевны Сусловой со студентом Московского Университета историко-филологического факультета, 3-го курса Васильем Васильевичем Розановым.

3 ноября 1880 года Прокофий Григорьев Суслов Анна Ивановна Суслова

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что на сем согласии подписи сделаны собственноручно в присутствии моем, Александра Матвеевича Корбатовского, исполняющего должность нижегородского нотариуса, Василия Ивановича Куваева, в конторе его, находящейся 2 Кремлевской части, по Осенней улице, в доме Бубнова, Горбатовским мещанином Прокофием Григорьевичем Сусловым и женою его Анной Ивановною Суисловою, в доме из них первого, лично мне известными.

1880 года Ноября 3 дня И. д. нотариуса А. Корбатовский».

«Ректор. Императорский Московский Университет Москва Ноября 11 дня 1880 г. № 2640

СВИДЕТЕЛЬСТВО

От Ректора Императорского Московского Университета студенту 3-го курса историко-филологического факультета Василию Розанову в том, что к вступлению его в законный брак со стороны Университета препятствий нет.

Свидетельство получил – 11 ноября 1880 г. В. Розанов».

И последний документ в этой серии – свидетельство о браке – приводит «Розановская энциклопедия»:

«Означенный в сем свидетельстве *студент* Василий Васильевич Розанов, 1880 года Ноября 12 дня, в полковой *церкви*, повенчан, с домашней учительницею дочерью купца Владимирской Губернии Горбатовского уезда, девицею Аполлинариею Прокофьевною Суисловою, оба первым браком; в чем с приложением казенной церковной печати, удостоверяю. Москва 1880 года Ноября 12 дня. Священник 4-го Гренадерского Несвижского полка Сергей Беольвский».

Непонимание

О том, как проходило само бракосочетание, свидетельств не сохранилось, если не считать небольшого фрагмента из воспоминаний Т. В. Розановой: «Университетский товарищ отца рассказал нашей маме, что когда папа венчался на первой своей жене – Сусловой, то она (Сусллова) шаферами пригласила его и Любавского. Был среди них Белкин, красивый, Аполлон Бельведерский; он и говорит: “Давай увезем Ваську” (от венца), но они не решились, так как были приглашены и должны были свою должность исполнять».

Они и исполнили.

Судя по всему, полтора года молодые жили в Москве, однако никаких более подробных сведений от той поры тоже нет, да и сам Розанов жизнь с молодой женой в Москве почти не вспоминал. В 1882 году, окончив с отличием университет – значит, не так уж плохо он учился, – В. В. уезжает преподавать в Брянск (старшая дочь пишет в воспоминаниях, что «отца считали способным к научной работе и предложили ему остаться при университете, но отец отказался, так как был убежден, что не может читать лекций по самому складу своего характера и по слабости голосовых связок»), и так начинается его более чем десятилетняя учительская карьера, которая затем продолжится в Ельце, а после этого в городе Белом Смоленской губернии. Опять же рифма: в трех разных губернских гимназиях он учился, в трех уездных работал и узнал, изведаль провинциальную Россию, как никто другой.

«Я поражался будучи учеником в Костроме, Симбирске и Нижнем Новгороде, отчего во всех трех гимназиях учителя были явно злы, недоброжелательны, ничего не извиняли, ни с чем не мирились, и точно им удовольствие доставляло делать зло, нам, ученикам... И так я думал все годы ученичества, пока сам, став учителем, через 3–4 года сделался *точь-в-точь* таким же угрюмым, печальным, на всех и все сердитым учителем в мундире».

Признание очень точное. Если сравнить три места его учительства, то от Брянска до Белого это была история снисхождения, своего рода педагогическая деградация. В Брянске Розанов пахал. Судя по сохранившимся документам, он работал учителем истории и географии не только в мужской прогимназии, куда был назначен, но и в женской, а кроме того, вел латынь, то есть по иронии судьбы преподавал те самые предметы, которые у самого у него в годы учения вызывали наибольшее отвращение. Зато у В. В. были, говоря современным языком, большая нагрузка и, соответственно, хороший заработок. Как следует из «Формулярного списка Василия Васильевича Розанова – учителя истории и географии Брянской прогимназии», опубликованного в «Розановской энциклопедии», коллежский асессор Розанов зарабатывал в год 1410 рублей и по итогам пятилетней работы был награжден за усердную службу орденом Святого Станислава 3-й степени.

Он мог позволить себе зажить на широкую ногу, снимать хорошую квартиру, содержать прислугу и впервые в жизни почувствовать себя если не богачом, то вполне обеспеченным человеком. «Город был ужасающе беден и столь же ленив, – писал Розанов о Брянске в статье «Богоспасаемый городок». – Город – старинный, один из древнейших в России, но в котором к данному моменту времени осталось почти одно мещанство, т. е. домохозяева, и приезжие, т. е. чиновники и разные дельцы, “колонисты”. Он так и разделялся на две полосы: старого мещанства, незапамятной местной дедины, безграмотной и малограмотной, и, так сказать, людей американского типа, наезжих, просветителей, которые это мещанство лечили, учили, управляли им, покупали у него в лавочках провизию и табак, нанимали у него квартиры и через всё это рассеивали в его массе благотворное жалованье, на которое, получив по мелочам в руки, эти мещане закупали всё в губернском городе и привозили к себе опять же в снедь американцам. В этом кругообороте между казначейством и лавочкой заключалась местная старая, туземная экономическая жизнь. Друг около друга терлись люди. И пыль от этого трения падала в виде

манны небесной на жителей... Вообще же городок жил не склеившеюся, рассыпчатой жизнью. Жил лениво, праздно. Никому ни до кого не было дела. Жил свободно и в этом смысле радостно. Беднел. Я думаю, большинство наших маленьких городков таково же. Жителей было в нем около шестнадцати тысяч».

Среди них была его ученица – княжна Вера Гедройц, будущая знаменитая женщина-хирург, поэтесса с нетрадиционной ориентацией, работавшая во время Первой мировой в Царскосельском лазарете и лично знакомая с царской семьей. После революции она осталась в России и в начале 1930-х написала автобиографический роман «Лях», в котором насмешливо и нежно изобразила Розанова, «худого, с такими тонкими ножками, что вицмундир кажется висящим на нем, как на вешалке», и процитировала хулиганский стишок, сочиненный прогимназистками для сатирической газеты «Хайло»:

Вот идет сюда Васютка,
Посмотреть на рожу жутко.

Впрочем, свою внешность Розанов, как известно, в «Опавших листьях» и сам не раз высмеивал: «С выпученными глазами и облизывающийся – вот я. Некрасиво? Что делать».

Однако главное, чем занимался В. В. в ту пору, помимо педагогической деятельности, – он писал свою первую книгу. Главный и самый несчастный роман своей жизни «О понимании». В отличие от его будущих сочинений эта книга не пользовалась успехом ни при жизни ее создателя, ни после его смерти, а между тем, вероятно, ни в одно из своих сочинений он не вложил столько труда, прилежания и тщательности и в самом конце жизни говорил, что не может быть понят без «Понимания»¹¹. «Написал ее в 4 года совершенно легко, ничего подготовительно не читавши и ни с кем о теме ее не говоривши. Я думаю такого “расцвета ума”, как во время писания этой книги, – у меня уже никогда не повторялось. Сплошное рассуждение на 40 печатных листов, – летящее, легкое, воздушное, счастливое для меня, сам сознаю – умное: это я думаю вообще не часто в России. Встретить книга какой-нибудь (привет), я бы на всю жизнь остался “философом”. Но книга ничего не вызвала (она однако написана легко)».

Легко или нет, в этом может убедиться любой, кто попробует ее прочесть. Кроме того, есть очень любопытное суждение об этой книге литературного критика и издателя А. А. Измай-

¹¹ Ср. с мнением философа В. В. Библихина: «С Розановым стало легко, когда было решено, что он сладенький и свой. Но он стал такой; ведь сначала был совсем другой Розанов. Можно ли сказать, что Розанов книги “О понимании” не понял? Нет, нельзя так сказать, потому что тот Розанов просто не прочитан. Никем, потому что даже один из теперешних распорядителей его наследия, владельцев его имущества, комментатор, представитель и изъяснитель, говорит о той книге, что это какой-то трактат по науковедению, заслуженно не замеченный, Бог знает какой странный опус, где “предпринята попытка рассмотреть ‘понимание’ как научную категорию”. Другой специалист, тоже претендующий быть представителем, отзывается о его главной книге: какой-то “весьма схоластический трактат”... Все было бы в порядке, если бы сам Розанов сказал: да, с моим ранним трактатом произошел сбой, 737 страниц действительно какого-то скучного науковедения, на самом деле весьма схоластический трактат. Искания и ошибки молодости. Но нет, Розанов всегда говорил другое и прямо противоположное, скромно просил: прочитайте, посмотрите ту книгу “О понимании”, жалко, что вы ее у меня не знаете. А потом совсем резко, прямо черным по белому написал, что журналистика игра, а философия серьезно и что все время была бы философия, если бы не умирать с голоду. Мы знаем лучше: в его философии, нам кажется, ничего нет, как говорит еще один очень важный специалист; какие-то сырые досократики, поэтому другое мы печатаем, а то пока нет. В Розанове происходит разрушение литературы. Это всех радует, и вокруг этого разрастается еще одна литература. Но почему-то никому не пришло в голову, что в Розанове происходит разрушение не только литературы, но и литературоведения. Оно поставлено в том, что касается его, под вопрос. Чем? Опасной возможностью того – а я уверен, она и осуществилась, – что племя любителей розановской словесности будет иметь перед собой корпус Розанова, ходить по нему взад и вперед, уже по всякому, и говорить мимо него. Мимо по той же самой причине, по какой не читается молодой философ Розанов. Не может быть прочитано что-то на чужом языке, в котором не выучен алфавит. Алфавит к языку Розанова – его первая книга. Не знаю, в ту ли сторону мы даже все его строки читаем, пока не заглянули в алфавит. Там ключом ко всему Розанову мне кажутся вот эти места: “понимание есть”... Там, где, мы думаем, мы уже читаем и понимаем Розанова, перед нами в зеркале пока еще наш портрет. Мы неосторожно подставились этому зеркалу. Розанов загадочно смотрит на нас из своей каменной задумчивости».

лова¹², но вот что касается Аполлинару Прокофьевны, которая постепенно подбиралась к своему сорокапятилетию, то она явно не стала поклонницей творчества мужа. «Она всячески насмехалась над его работой... презрительно относилась к этой работе», – вспоминала позднее Т. В. Розанова, и по сути именно это обстоятельство сделалось камнем преткновения в их совместной жизни.

Отнесись она к мужу иначе, стань для него тем, кем были великие писательские жены, прощай все его недостатки во имя таланта, поддержи его в трудную пору, утешь, приласкай, пожалей, – а можно представить, сколько надежд он возлагал на эту книгу, не говоря уже о том, что издал ее за свой счет, и как был сражен, подкошен неудачей и нуждался в сочувствии! – все пошло бы в их отношениях иначе. Но – не случилось. Розанов впоследствии обвинял жену именно в том, что она не захотела быть женой. Более мягко в письме Страхову: «Я думал найти в жене верного спутника и друга жизни, поддержку в нравственных трудностях, о которых думал в то время, и нашел именно в этом только холод и отчуждение».

И гораздо более жесткий счет предъявил в письме самой Аполлинару: «Вместо скромной и тихой жизни, вместо того, чтобы сидеть около мужа, окружить его вниманием и покоем в многолетнем труде, заставить других уважать и беречь этот труд, – что Вы сделали? Жена верная примет на себя все оскорбления и не допустит их до мужа, сбережет сердце его и каждый волос на его голове – а Вы за ширмами натравляли на меня прислугу, а воочию – всех знакомых и сослуживцев, во главе их лезли на меня и позорили ругательствами и унижением, со всяким встречным и поперечным толковали, что он занят идиотским трудом. Спросили Вы меня хоть раз, о чем я пишу, в чем мысль моя?... Низкая Вы женщина, пустая и малодушная... Жалкая Вы, и ненавижу я Вас за муку свою. Бог Вас накажет за меня. Только когда умирать будете, когда в предсмертной муке будете томиться – пусть образ мой, который один из людей Вас понял и оценил и Вы над ним же одним насмеялись и замучили – пусть мой образ в эту предсмертную муку Вам померещится. В. В.».

Письмо, что и говорить, не по-розановски обиженное, пафосное, слезливое, очень декларативное и нелепое, полное упреков и оскорблений, но вместе с тем очень важное для понимания характера нашего героя¹³. Однако вопрос о том, почему Суслова так безжалостно себя

¹² «– “А какова действительная научная ценность этого труда?” – спросил я однажды у большого специалиста философии, академика и друга Соловьева. – “Этот труд, – ответил он, – замечателен тем, что Розанов, не читавший Гегеля, собственным умом дошел до того, до чего дошел Гегель. Я думаю, что этого не нужно было делать, – проще было научиться читать по-немецки”... Это была горькая истина, но это был и очень высокий комплимент Розанову как мыслителю».

¹³ Вот его полный текст, приведенный в книге Л. И. Сараскиной: «... Помните и знайте, что какое бы горе у меня ни случилось, когда бы мне ни пришлось, хоть в будущем далеком, вынести унижение и позор, первая мысль моя будет не о нем, а о Вас, не о позорящем меня человеке, а о Вас, меня позорившей и на меня [?]. Помните, что между мною и всяким обидчиком моим будете стоять Вы, первая ненависть моя к Вам; всякую обиду я буду переносить на Вас, буду принимать ее как бы от Вас – Вы первая начали, а другие только продолжают, и они чужие, для них я ничего не сделал, а Вы были любимой женщиной, для которой я дважды не пожалел жизни. *Ваша рука первая поднялась на меня.* С Вас начались все радости моей жизни. Вы рядились в шелковые платья и разбрасывали подарки на право и лево, чтобы создать себе репутацию богатой женщины, не понимая, что этой репутацией Вы гнули меня к земле, сделали то, что в 7 лет нашей счастливой жизни я не мог и глаз поднять светлых и спокойных на людей, тревожно искал в их словах скрытой мысли – не думают ли они, что я продал себя Вам за богатство. Все видели разницу наших возрастов, и всем Вы жаловались, что я подлый распутник; что же могли они думать иное, кроме того, что я женился на деньгах, и мысль эту я нес все 7 лет молча; знайте, что даже о Смирновых, даже о сестре Вашей, и Анне Асафьевне, и о Свиридовых я всегда думал, что все они меня считают подлым и алчным человеком, женившимся на Ваших деньгах. Легко мне было. Бог один видит мое сердце. Когда Ваша мать приехала в Москву и впервые я с нею увиделся, я обошелся сухо и ушел с Барановским играть в карты, чтобы не дать ей повода думать, что ишу ее расположения, жду от нее денег. А Вы рядились в шелк; занимались испанской историей и не видели, какую ежеминутную муку несет в сердце Ваш муж. Я нарочно ходил в отрепьях, звал Вашу мать и отца как чужих людей по имени и отчеству, хоть любил их и мне дорого бы было звать их отцом и матерью; но я вспыхнул, когда раз Свиридов сказал мне о покойнице *Ваша мамаша*. Сынок со стороны, ждущий наследства. Поченина раз заговорила о моей трудной жизни в университете, и я нашел из ее слов, что Вы хвастали, что содержали меня. Я и жениться решился на Вас, только получив стипендию, мысль, что на меня будут смотреть как на женившегося на деньгах, жгла меня еще до брака. Я нарочно не переводился из Брянска, не хотел искать ученой степени, что предлагал мне Герье, упорно трудился над своей книгой, чтобы не жгла меня эта мысль более, чтобы увидели во мне серьезного и скромного человека, который очевидно не на деньгах женился, потому что ведет тихую

по отношению к мужу повела, непрост. В чужую душу, конечно, не залезешь, независимых

и скромную жизнь, не ищет внешней обстановки и занят своею мыслью, ее развитием и осуществлением. Поняли Вы меня и оценили. О сжатых в башмачке ножках девчонки Салиас плакали, а в сердце мужа не заглянули. Перед всеми хвастали, как Вам присылали мать и отец деньги, на что я всегда смотрел с ненавистью. С семьями живут на мое жалованье, а Вы вдвоем со мной не хотели [?] это сделать, чтобы не было этих денег из Вашего дома в мою семью... *Мукой мужа Вы удовлетворяли Ваше тщеславие*, знайте это, помните. Вы вечно тащили меня в гости и силились собирать у себя гостей, заводили необыкновенные лампы и огненного цвета пальто. Стыдитесь, изорвите этот позор мой, так мучивший меня столько лет. Вместо скромной и тихой жизни, вместо того, чтобы сидеть около мужа, окружить его вниманием и покоем в многолетнем труде, заставить других уважать и беречь этот труд, – что Вы сделали. Жена верная примет на себя все оскорбления и не допустит их до мужа, сбережет сердце его и каждый волос на его голове – а Вы за ширмами натравляли на меня прислугу, а воочию – всех знакомых и сослуживцев, во главе их лезли на меня и позорили ругательствами и унижением, со всяким встречным и поперечным толковали, что он занят идиотским трудом. Спросили Вы меня хоть раз, о чем я пишу, в чем мысль моя. О бездарном ученом и лакее-пролазе Любавском Вы любили говорить; знакомство с ним могло льстить Вашему тщеславию, так как он оставлен при Университете, хоть все еще не попал в него и через 7 лет и все еще тужится над компилятивной диссертацией своей, подбирая цитаты из книг, жалкая карикатура, без какой-либо оригинальной мысли. А муж, над одной мыслью продумавший 5 лет и в 5 же лет написавший труд, о котором люди, которые и в переднюю не пустят Вашего Любавского, говорят, что он выше их собственных трудов – только потому, что он был не искателем и не кричал и не рассказывал уже о совершенном труде встречному и поперечному (а Ваш Любавский все кричит о замышляемых трудах) – Вы отстранились от этого мужа, подло предали его на ругательства и первые их начинали, ожидая за это похвал себе. Низкая Вы женщина, пустая и малодушная. Н. Страхов говорил мне лично, читая одно место в моей книге и невольно остановившись: “Просто завидуешь, как Вы пишете, какая точность мысли при совершенной легкости языка”, Радлов, профессор философии Александровского лицея, начавший по поручению нашего министерства писать разбор моей книги, оставил его, даже скомпрометировав себя, и открыто сознался: “Я не имею и десятой доли того таланта, который есть у Розанова, мне и во сне не приснится написать такие страницы, как у него, – что же я буду указывать ему в чем-нибудь”. Ап. Майков искал моего знакомства и, сравнивая меня с Гротом, проф. философии в Моск. унив., сказал: “Я скажу Делянову, что у него учителя уездного училища читают философию в университетах, а профессора философии читают географию в уездных училищах”. И все эти люди и другие из их кружка, несколько более образованные, чем Вы, и Ваш Любавский, и Виктор Михайлович, перед коими Вы благоговеее, ласкали меня и говорили, как мне передавали: *какая светлая личность встает между нами*; и до того связалась моя душа с Вами, что все, что я ни слышал, все это мне отраднo было только потому, что поднимало из того позора и унижения, в который Вы меня ввергли, и мне сладко теперь сказать это Вам, что Вы ошиблись во мне и я оценен, но только не Вами, которая променяла меня на Саркисовых и Любавских. Мне сладко, что муку свою, видя Ваше отвращающееся от меня лицо, я перенес молча, гордо не искал ни в ком поддержки, даже в жене, и мое терпение награждено: к моей мысли прислушиваются и моего слова ждут. Вы меня унизили, а другие подняли. Пустая, пустая Вы женщина, не поняли ничего, что во мне было серьезного и скромного: видя одно, что теперь все и науку и философию любят ради тех должностей, которые они доставляют, боля душой за этот униженный кусок и за то, что наш русский народ не может возвыситься до него (только Вам это говорю), я молча живу в глуши и несу проклятую, мне ненавистную должность, принимая унижения, от которых бы Вы разорвались, только чтобы не смел никто в будущем сказать, что русские неспособны бескорыстно что-нибудь любить, чем-нибудь без нужды и выгоды интересоваться. Одного слова моего достаточно, чтобы не сидеть здесь больше в глуши среди нравственных уродов, картежников и идиотов, и даже попечитель только посторонится и даст мне дорогу, по которой я захотел бы идти, и я не иду по ней, до конца жизни буду здесь сидеть, чтобы не погибла мечта моя, чтобы умереть мне с мыслью, что не унижил я имени своего народа среди всей грязи, которою она запачкана, я останусь светлой и чистою точкою. Но я не драпировался в свою мысль, как Вы драпировались в Вашу любовь к Достоевскому и в свои вечные занятия средневековою историею, что все звучит так красиво и имеет такой красивый вид: тщеславная женщина: зачем Вы всякой знакомой показывали единственное письмо Достоевского, зачем Вы не сохранили его у себя. Он Вас ценил и уважал, зачем же приписывать это к своей особе, как красивую ленту, и шеголять ею на площади: в Москве при мимолетном знакомстве с Шубиной у Анны Ив. Покровской Вы уже показывали его. Таковы же всегда были Ваши занятия средними веками: что другое Вы сделали, как, имея лишние деньги и зная французский язык, – понакупили книг, тщеславно разложили их на столе и по примеру своего неперменного Идеала Михайловского, но еще с меньшим успехом, чем он, подумали, что стоит несколько поначитать этих книжек и составить по ним новую, чем приобретать сразу и ученое имя, и литературную славу. Жалкая Вы женщина, бедная, зачем Вы уродуете себя, вместо того чтобы без стыда носить простое и скромное платье, которое у Вас есть, Вы хотите рядиться в чужие блестящие поступки. Неужели Вы думаете, что можно что-нибудь сделать, не имея определенной мысли в науке, только имея книги, перо и чернила. Чернила-то у Вас есть, которыми бы Вы все написали, а вот мысли-то для чернил нет. Я никогда без боли не мог слышать, как, тщеславясь перед каким-нибудь Смирновым или перед Саркисовым, которые едва помнят о том, что такое средние века, Вы начинали толковать о своих занятиях Бланкой Кастильской, о которой они никогда не слышали, или Колумбом, о котором еще имели понятие, и даже не совсем смутное. К чему этот позор Вы на себя надевали, разве Вы не могли заниматься скромно, и, ничего еще не сделав, уже шутили о том, что сделаете. Только я все это видел и болел за Вас, потому что любил Вас; и ни разу не сказал Вам об этом ни слова, думая, пусть хоть в воображении своем поживет. А Вы тут же сидели и говорили с высокомерием и снисхождением о ниже Вас стоящем муже: *чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало*. Больное Вы дитя, и только как больное и мало радости видевшее, я щадил Вас, и Вы этого не понимали. Ничего не поняли в наших отношениях, и прахом пошла наша жизнь. И теперь, все еще питаюсь какими-то мечтами, Вы думаете все время, что от чего-то спасаете меня, от кого-то оберегаете. Не сберегли себя, да и меня утопили, а в спасительницы других маскируетесь. Оставьте это, оглянитесь на свою прошлую жизнь, посмотрите на свой характер и поймите хоть что-нибудь в этом. Но никогда Вы ничего не поймете, так и умрете, не узнав, что Вы такое были и что за жизнь провели. Плакать Вам над собой нужно, а Вы все еще имеете торжествующий вид. Жалкая Вы, и ненавижу я Вас за муку свою. Бог Вас накажет [?] за меня. Только когда

источников почти никаких нет, и что на самом деле думала Аполлинурия про своего неказистого супруга, который не сумел остаться в Москве или перебраться в Петербург, о чем она наверняка мечтала, а «был толкнут, как поезд по рельсам, – на обычную дорогу учительства», за кем потащилась эта некогда жившая в Париже и Женеве необыкновенная дама («Суслиха вполне героический тип исторических размеров. В другое время она – “наделала бы дел”. Тут она безвременно увядала», – признавал он позднее) даже не в губернскую, а в уездную глушь, и кто вдруг оказался еще и писателем, местным философом, шутом гороховым, – все это одному Богу ведомо. Отвергла ли она с порога сам факт, что облизывающийся «Васютка» с его «рожей жуткой» посмел заниматься литературным трудом, или же, взглянув на его первые опыты, их не полюбила? Разочаровалась? Поняла, что ошиблась и никакой он не Достоевский номер два? А может быть, наоборот, рассчитывая быть в их тандеме яркой, главной, вдруг с ужасом обнаружила, что из гадкого утенка получается лебедь, который ее затмит, и второй гениальный снаряд угодил в один и тот же окоп и грозит его окончательно разрушить?

Полина ведь, безусловно, была очень тщеславна и жаждала первенствовать. А если вспомнить, что из нее самой писательницы не получилось и, крайне самолюбивая, гордая, она эту неудачу тяжело переживала и забыть обиду не могла, ее ревность становится более понятной.

В более позднем письме Флоренскому Розанов вспоминал:

«Когда я ее спрашивал, отчего она не “пишет, не выступит в литературе”:

– У меня таланта нет.

С поднятым (не высоко) лицом, и грустно, и величественно».

Но только ли это? В любом случае женщине, которая, по словам Достоевского, никогда «не допускала равенства в отношениях», нужен был в мужья не гений (видала она их и на всю жизнь сыта была по горло!), а – муж-мальчик, муж-слуга. Однако задавленный и в детстве и отрочестве, жалкий, худой, несчастный, тонконогий, с красным лицом и неприятной лоснящейся кожей, с волосами прямо огненного цвета, которые «торчат вверх не благородным “ежом” (мужской характер), а какой-то поднимающейся волной», нелепый Вася Розанов, кого девица Суслова подобрала в Нижнем, отправила учиться в Москву в университет, а потом на себе женила, оказался на поверку совсем другим. Он не оправдал ее надежд и поломал ее жизненный сценарий, точно так же, как не оправдала его ожиданий она и не стала всепрощающей женой-матерью (какой станет вторая жена В. В. – Варвара Дмитриевна Бутягина). Они чудовищно ошиблись друг в друге оба, и никто не захотел, не смог, не сумел уступить!

«Наделенная большим умом, сильным воображением, добрая в порывах, но и беспощадная со всяким, кто стал бы поперек ее желаний, иногда самых фантастических, она руководилась в жизни не реальными обстоятельствами и не действительными потребностями, но произволом воображения и часто прихотей» – так охарактеризовал Розанов впоследствии свою жену в прошении на высочайшее имя¹⁴ (хотя в каком-то смысле это была и очень точная самооценка – именно таким был в действительности сам Василий Васильевич Розанов), впервые в жизни оказавшись замужней дамой, Аполлинурия Прокофьевна пыталась вести в Брянске светскую жизнь, принимала в доме коллег своего мужа, которых, возможно, ставила выше его самого (или делала вид, что ставит), чем доводила болезненно самолюбивого Розанова до белого каления и своими руками готовила разрыв.

умирать будете, когда в предсмертной муке будете томиться – пусть образ мой, который один из людей Вас понял и оценил и Вы над ним же одним насмеялись [?] и замучили – пусть мой образ в эту предсмертную муку Вам померещится».

¹⁴ Ко всему этому стоит добавить характеристику, которую дал Сусловой Ф. М. Достоевский в 1865 году: «Аполлинурия эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. <... > Мне жаль ее, потому что предвижу, она будет вечно несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастье. Кто требует от другого всего, а сам избавляет себя от всех обязанностей, тот никогда не найдет счастья».

Метель в степи

В 1884 году отношения между супругами сделались настолько напряженными, что Суслова оставила мужа на несколько месяцев. Судить об этом мы можем как по более позднему письму Розанова на имя митрополита Антония (Вадковского), так и по первому завещанию философа, датируемому декабрем 1884 года. В нем мнительный Розанов, давая распоряжение на случай своей «естественной или случайной» смерти, упоминает Аполлинарию: «Жене моей, со мной не живущей, глубокий поклон и желание долгого, счастливее, чем до сих пор, житья».

Тем не менее супруга возвратилась, чтобы через несколько лет уйти от мужа окончательно. Обыкновенно вслед за Розановым принято считать, что причиной всему была ее измена и Суслиха мужа бросила. Причем не просто бросила, а бросила «жестоко и беспощадно, как она все делала». В. В., эту версию однажды выдвинув, всячески поддерживал и кому ни попадя о ней рассказывал, причем на сей раз именно со ссылками на Достоевского. Например, Валерию Брюсову, с которым его вообще ничего не связывало («порченным декадентом» он назовет его в письме Гершензону), и тем не менее в дневнике поэта читаем: «Розанов удивительно рассказывал раз о своей прошлой жизни, о своей первой жене. Она была любовница Достоевского. Р. был тогда мальчик. Она хотела, чтобы он <был> только ее *amant* (любовник. – *фр.*), но он хотел жениться. Она скоро возненавидела его. Изменяла открыто. Писала на него доносы. Не терпела его присутствия. “Бывало, умываюсь, гов<орил> он, и слезы вместе с водой так и утираю полотенцем”».

Сам В. В. в разных источниках писал о молодом еврее Онисиме (Осипе) Гольдовском, в которого Аполлинария Прокофьевна «влюбилась безумно “последней любовью”». А он любил другую (Ал. П. Попову; прелестную поповну). Его одно неосторожное письмо ко мне с бранью на Александра III она переслала жандармскому полковнику в Москве, и его “посадили”, да и меня стали жандармы “тягать на допросы”. Мачеху его, своего друга, Анну Осиповну Гольдовскую (урожд. Гаркави), обвинила перед мужем в связи с этим студентом Гольдовским (ее “предмет”) и потребовала, чтобы я ему, своему другу – ученику – писал ругательские письма. Я отказался. “Что ты, безумная”. Она бросила меня».

Поверить в сию мелодраматическую версию и в еще одну «последнюю любовь» неистовой Аполлинарии, конечно, можно, а кроме того, эта история замечательна тем, что то было первое известное нам близкое знакомство Розанова с представителем народа, который впоследствии сыграет столь жгучую роль в его судьбе. Однако в Гольдовском ли было дело?

Здесь опять же надо принять во внимание тот факт, что версия о Сусловой как о виновнице их разрыва возникла в розановских письмах и разговорах лишь в конце 90-х, когда остро стал вопрос о незаконнорожденных детях Василия Васильевича в его втором, непризнанном браке. Но ранее, в 1890 году, в объяснениях в полицейское управление города Ельца относительно «предоставления отдельного паспорта жене, Розановой Аполлинарии Прокофьевне», В. В. ни в чем предосудительном супругу не обвинял. Напротив, писал, что «причиной ссор служила ее постоянная подозрительность и ревность, никогда не высказывавшаяся ясно и с первого же начала, но раздражавшаяся гневными вспышками, следовавшими одна за другой, приблизительно через промежутки времени месяца в 2–3, в течение которых она бывала со мною хороша и ласкова. По причине ее постоянной затаенности я никогда не в силах был предвидеть ни времени, ни точного предмета наступающей ссоры, и первый год нашей брачной жизни даже не понимал, что причиной служит именно ревность. Как муж и любя ее, я видел болезненное сложение ее характера, постоянно как бы встревоженного, чего-то ищущего и никогда не способного удовлетвориться обыкновенною будничною жизнью. Значительная разница наших лет (она лет на 15 старше меня) все-таки была недостаточна, чтобы объяснить эту подозрительность и ничем не успокаиваемую ревнивость; позднее (в 1886 году) городской

врач города Брянска, г. Денисенко, имевший случай свидетельствовать ее по причине одного заболевания, объяснил мне, что она нервопатична, и это находится в связи с некоторыми болезненными отклонениями у нее в системе женских органов».

Вероятнее всего, так и было, и именно *ревность* Аполлинару к мужу – ключ к этому сюжету. В прошении на имя митрополита Антония Розанов писал, что брак их «был бесплоден и, не скрою от Вас, нечист (между мужем и женой не было совершенного или надлежащего целомудрия, о коем молился Товит)». А в другом месте: «Жили бесконечно плохо; мучительно, скандально; я писал тогда (в Брянске) книгу “О понимании”, а она уверена была, что у меня мелькают юбки перед глазами; несколько раз, забрав рукописи, я переходил в гостиницу».

Юбки здесь упомянуты не случайно. Была ли основана на чем-либо конкретном уверенность Аполлинару Прокофьевны или измены мужа ей померещились, вопрос открытый. Сам Розанов, будучи человеком влюбчивым, позднее мельком вспоминал свои милые брянские шалости и увлечения, и, судя по письмам графини Салиас, Аполлинария считала, что ее муж – человек «ветренный, неверный и беспутный» – вспомним еще раз розановские строки: «всем Вы жаловались, что я подлый распутник». Опять же дело не в том, насколько это соответствовало действительности¹⁵ – а в том, что так думала она, и именно это обстоятельство объясняет линию ее поведения в дальнейшем.

«Невозможно представить всей грязи, которую она подняла, обвинив меня в связи с одной из двоюродных сестер, – сообщал Розанов Глинке-Волжскому. – Анонимные письма, неприличные стихи – все стекалось, стекалось в руки знакомых или родных; п. ч. моя предполагаемая любовница, придя в гимназию, – в истерике требовала возвращения своих писем, отдельные слова из которых приводила Суслова... Со всех сторон вступившиеся знакомые и родные требовали, чтобы я справился с женой, убрал ее, то есть в сумасшедший дом; что это – преступление; но было так же невозможно справиться с нею, как с метелью в степи; для свободы действий она переехала в Орел».

Кстати, вышеупомянутая княжна Гедройц в автобиографическом сочинении тоже немало страниц посвятила жене философа, выведенной под именем Юлия – ревнивой, сварливой, властной: «Васеньку в таком страхе держит, что он у себя никого принять не смеет и в отместку лепит нам колы».

Что же касается «романа» Аполлинару Прокофьевны с Гольдовским, разумеется, и этот грех можно на бедную женщину повесить, представляя ее в образе зрелой нимфоманки, падкой на молодых студентов («Старая, она делалась все похотливее и в Москве все чаще засматривалась на студентов, товарищей молодого, но надоевшего мужа», – писала в мемуарах Зинаида Гиппиус), либо предположить, что она эту любовную историю намеренно затеяла, дабы неверному мужу «отомстить», только вот что странно.

«Условием возвращения из Орла было, чтобы я не виделся, не знался, не здоровался с Гольдовским, – и я решился твердо все исполнить», – писал Розанов Глинке-Волжскому.

Тут, конечно, сразу возникают вопросы: если Суслова влюбилась в Гольдовского, то почему именно она поставила такое условие, почему Розанов с ним твердо согласился? Не была ли вообще влюбленность его жены в «прекрасного юношу, жида» плодом более поздней фантазии самого В. В. с понятной целью: ему надо было отвести от себя все подозрения и ни в коем случае не оказаться виновной стороной в их с Аполлинурией разрыве и сделать, напротив, ответственной за несложившийся брак ее.

У Розанова был мотив, и Онисим Борисович Гольдовский (впоследствии видный адвокат, юрист, один из основателей кадетской партии) был так же виновен в преступном уходе

¹⁵ Так, Л. И. Сараскина оценивает этот сюжет следующим образом: «В переписке А. П. Сусловой и Е. В. Салиас 1880-х годов, насколько об этом можно судить по письмам Е. В. Салиас, причиной разрыва А. П. Сусловой с мужем называлась не ее история с О. Б. Гольдовским, а неверность В. В. Розанова – его связь с некой молодой учительницей (может быть, дочерью Д. Д. Кучинского, брянского доктора)».

пожилой развратной жены от молодого целомудренного мужа, как еврейский приказчик Менахем Мендель Бейлис в ритуальном убийстве подростка Андрея Ющинского. А единственная причина, по которой Аполлинария жестоко себя повела, могла заключаться в том, что Гольдовский, по ее мнению, каким-то образом способствовал розановским отлучкам; не случайно Розанов упомянул двоюродных сестер невесты Гольдовского как предполагаемый объект ревности.

...Это была молодая, веселая компания, в которой тридцатилетний педагог охотно проводил время и мог позволить себе раскрепоститься, и Аполлинария Прокофьевна как нигде ощущала себя там принадлежащей к другой возрастной группе. Поэтому она могла прелестному юноше мстить, а вовсе не потому, что в него влюбилась. И когда Розанов свое обещание нарушил, «Суслова моментально узнала, что я видел Гольдовского, и в ряде бешеных писем потребовала пересылки себе вещей своих; тщетно я плакал, все приняли во мне участие и просили ее успокоиться... напрасны были личные обещания. С этих пор я более ее не видел».

Эту нестыковку, кстати, хорошо почувствовал и А. С. Долинин, написавший в предисловии к сусловским дневникам: «Кто же из них прав, обвиняя друг друга в “неверностях”? Суслова или Розанов, себе на каждом шагу противоречащий, как в характеристике, которую он и дает ей в письмах к А. Г. Достоевской и к Волжскому, так и в сообщаемых им фактах?»

Закон чисел

Розанов, как уже говорилось, впоследствии почти везде называл 1886-й годом их расставания. В том числе в таких серьезных документах, как его второе завещание, написанное в 1899 году, где он вспоминает о «формально не уничтоженном моем браке с первой супругой – да будет ее имя забыто – оставившею меня самовольно в бытность мою в Брянске в 1886 году». Эта дата кочует из одной книги в другую вплоть до авторитетной «Розановской энциклопедии», однако письмо графини Салиас ее высокоблагородию Аполлинии Прокофьевне Розановой, датированное маем 1887-го и отправленное в Брянск, эту хронологию опровергает: «Мне бы надо у Вас спросить (по очень большому секрету и между нами), не хотите ли Вы получить место начальницы школы или прогимназии. Я могу поговорить об этом. Но это большой секрет между Вами и мной».

Да и в объяснительном письме в полицейское управление в 1890 году Розанов написал о том, что они прожили с супругой в Брянске пять лет, а далее, «видя ее скорее несчастною, чем виновною в происходящих ссорах, во время их я всегда был уступчив, соглашался со всеми ее требованиями, и, вероятно, она сама не откажется подтвердить, что в течение семи лет не слышала от меня ни одного бранного слова или грубого в чем-нибудь отказа. Однако, несмотря на все меры, ее вспышки принимали все более и более резкую форму и наконец окончились отъездом летом *1887 года* (курсив мой. – А. В.)».

Но потом везде настаивал на том, что разлука случилась годом раньше. «Мирно она села (в Брянске) в поезд, я ее усадил: и из Москвы получил письмо, что больше ее не увижу», – писал он митрополиту Антонию, называя именно 1886 год. С одной стороны, какая, казалось бы, разница, в каком году она села в этот мирный поезд, навсегда увезший ее от сумасбродного супруга? В восемьдесят шестом, седьмом, восьмом? Ну, забыл человек, ну, перепутал, ошибся. На самом деле разница есть, разница очень существенная, ошибка сознательная, важная, и связана она с тем временным обстоятельством, о котором Розанов позднее написал своему доброму знакомому Сергею Александровичу Рачинскому: «Нужно Вам заметить, что я знал и мне как-то впало в душу одно условие 2-го венчания, ужасно близкое к моему положению: 5-летнее безвестное отсутствие одного из супругов. Скажите, какое мне дело, что я знаю адрес своей супруги, когда одновременно я знаю, что это есть вечное разлучение, бессрочное отсутствие. Это адресные браки, т. е. с ведением адреса ложа супруги – одна из тех чудовищных аномалий, которые загромаждают жизнь; и со своей стороны раз уж 5-летняя давность законом установлена, я считал и до пролития крови считаю себя вправе на второй брак...»

Поскольку его второе незаконное венчание произошло в 1891 году, то мотив Розанова совершенно очевиден: ему был нужен именно *1886 год* как год разрыва с Сусловой в качестве еще одного аргумента для развода и вступления в новое законное супружество. Аргумента, столь же выдуманного, как и измена бывшей супруги, но главное – наивного, бесполезного, бессмысленного, потому что по тогдашним законам консистория не принимала подобных шатких обстоятельств во внимание. Ей строго требовалось *безадресное* пятилетнее отсутствие, *безвестное*, чтоб человека невозможно было нигде найти, разве что на каторге, и проживание Аполлинии сначала в Калуге, а потом в Нижнем Новгороде в доме отца под эту категорию не попадало. Однако упорное стремление В. В. сознательно искажать факты собственной биографии, произвольно меняя даты и переписывая задним числом историю, говорит само за себя. Не только в этом случае, но и во многих других. Верить нельзя никому, Розанову – особенно.

Что же касается Аполлинии, то не за пять лет, а за четыре года до его второго венчания (о чем, впрочем, никто из них тогда, вероятно, не думал) у нее созрело желание расстаться с мужем. Правда, не вполне понятно, то ли опять на время с расчетом его проучить и снова вернуться, то ли на этот раз навсегда. Ехать к отцу она не хотела, еще меньше мечтал видеть ее

у себя дома Прокофий Григорьевич, даром, что ли, он так любезно поздравит зятя с «наступившим высокаторжественным Новым годом» (1888-м) и напишет о своих добрых к нему чувствах. Аполлинария искала, чем ей заняться, отсюда и возник сюжет с начальницей школы. И когда Розанов принял решение перевестись из Брянска в Елец, Сулова за ним не последовала.

Либо он ее туда и *не звал* и вообще добился этого перевода втайне от нее.

В. В. впоследствии чаще настаивал на первой версии (в письме М. П. Соловьеву, например): «Зову, имею нескромность сослаться на свое грустное – не положение – а просто состояние духа (привычка, да и вообще ненавижу холостое положение). Ответ – 3 строки, а заключение: “Тысячи людей в вашем положении – и не воют. Люди не собаки”».

Но опять-таки как лицо заинтересованное вполне мог реальную картину исказить, чтобы еще раз сделать ответственной за разрыв ее, тем более что в письме другому адресату (А. С. Глинке-Волжскому) объяснил мотивы своего переезда иначе: «Когда все мне сказали, что она, очевидно, душевнобольная (у нее не б[ыло] другой болезни, кроме хронической опухли яичников) и если я еще буду искать с нею сблизиться и, б[ыть] может, найду ее, – может кончиться жизнь очень худо, хуже, чем разлука, – я стал просить перевода в другой город, и меня перевели в Елец. Здесь я как бы проснулся: удивительно важны перемены места и людей: проснувшись, я забыл даже, что женат, что пережил 5 лет мучительной драмы; я проснулся и вздохнул от прошлого, как от перенесенного тифа или скарлатины».

«– И все-таки не бросили ее? Как же вы наконец разошлись?»

– Она сама уехала от меня. Ну, тут я отдохнул. И уж когда она опять захотела вернуться, я уж ни за что, нет. В другой город перевелся, только бы она не приезжала».

Так вспоминала розановскую историю расставания с Аполлинарией Зинаида Гиппиус.

Л. И. Сараскина опубликовала в своей книге не полностью датированное письмо от субботы 15 августа неизвестного года (указаны число, месяц и день недели), которое Аполлинария отправила мужу. Тут, правда, есть одна неувязка. Публикатор (видимо, в соответствии со сложившейся традицией) датирует это письмо 1886 годом. Однако 15 августа 1886 года было пятницей. Суббота в этот день была *годом позднее*, и стало быть, письмо было написано именно в 1887-м.

«Сегодня я получила письмо от тебя, дорогой друг мой. Отчего ты так волнуешься? Хвастался своей молодостью и силами, дающими возможность переносить страдания, какие только можно встретить в браке со старой постылой женой, и не можешь спокойно перенести пустяков. Будь мужчиной, а не бабой; снявши голову, о волосах не плачут. Когда ты мне не писал все лето, ты тогда не думал, должно быть, в состоянии ли я, старая грешница, перенести такую быструю и решительную перемену. Я тогда уж решилась с тобой кончить, хотя ты и маскировал потом свою холодность громкими словами. Сегодня ты меня любишь, но что будет завтра? Но мы поговорим, когда ты успокоишься немного».

Письмо это отличается, во-первых, достаточно взвешенным и при этом насмешливым тоном (хотя и с плохо скрываемой яростью), а во-вторых, тем, что Сулова дважды называет себя старой, и понятно, что больше всего ее заботило именно это обстоятельство. Малейший намек на охлаждение со стороны мужа ее нервировал, и логично предположить, что если она и бросила Розанова, то лишь потому, что не хотела быть брошенной сама. Сыграла, так сказать, на опережение. Но виноватой себя ни на йоту не ощущала, и никакого разговора между супругами, судя по всему, так и не произошло.

«Мы вовремя разошлись, чтобы избежать чего-нибудь ужасного и преступного», – написал В. В. позднее, как бы примиряя обе версии, кого же считать инициатором их расставания. Но в любом случае никогда больше супруги не встречались, оставаясь до конца дней, по законам Церкви и государства, мужем и женой, что не только стеснило Розанова, о чем опять-таки знают все, но и накладывало значительные ограничения на свободу передвижений Аполлина-

рии Прокофьевны, о чем почему-то обыкновенно не задумывается никто. А между тем именно это обстоятельство могло оказаться в дальнейшем роковым...

В 1887 году Василий Васильевич дал супруге по ее требованию вид на отдельное жительство сроком на один год, который она провела в Калуге, работая в детском приюте, после чего разрешение не продлил. Перед Аполлинарией встал выбор: либо возвращаться к мужу, либо отправиться к отцу. Оба варианта были для нее ужасны, но в итоге она вынужденно предпочла второе и поселилась в Нижнем Новгороде, нигде уже больше не работая и вредного мужа тихо ненавидя и проклиная, приуготовляя ему будущую месть, которую он сам взлелеял, а у Розанова началась елецкая эпопея, продлившаяся ровно четыре года.

Друзья по переписке

Гимназия города Ельца известна в истории русской литературы тем, что в ней учились почти одновременно Бунин, Пришвин и философ Сергей Николаевич Булгаков. С Буниным Розанов на несколько лет разминулся и впоследствии отзывался о нем довольно холодно, а двух других будущих знаменитостей учил, оказавшись хорошим знакомым одного («Я знал его, этого сурового марксиста, еще на гимназической скамье, в Ельце. Он был из города Ливен, сын тамошнего протоиерея. Сильный крепыш, суровый, угрюмый. Он никогда не улыбался, не шалил», – писал он впоследствии о Булгакове) и напрямую причастным к изгнанию из гимназии второго. «Розанов – послесловие русской литературы. Я – бесплатное приложение», – сформулировал много лет спустя Михаил Пришвин, едко изобразивший своего учителя в автобиографическом романе «Кашеева цепь»¹⁶, во многом шедший в литературе по розановским стопам и называвший В. В. своим «литературным опекуном», который дал ему вещий совет: «Поближе к лесам, подальше от редакций».

Этот сюжет был описан мною в биографии Пришвина в серии «ЖЗЛ» и в романе «Мысленный волк», так что подробно касаться его не буду, но к Пришвину еще вернусь. А елецкий период в жизни нашего героя ценен тем, что здесь появляется стороннее воспоминание о Розанове, написанное его коллегой, учителем древних языков Первовым. Он изобразил Елецкую гимназию довольно в мрачных тонах, а самого Розанова описал как человека одинокого, ни на кого не похожего и вызывающего крайнее раздражение не только у учеников, но и у других учителей. «Раз он попал даже на холостую попойку у учителя женской гимназии Желудкова. Здесь слово за слово разгорелся спор между Розановым и Десницким, который “на все корки” честил философию и философов, крича с азартом: “И мы тоже кое-что понимаем!” В разгаре спора Десницкий схватил с полки книгу “О понимании”, преподнесенную Розановым Желудкову, расстегнул брюки и обмочил ее при общем хохоте всех присутствующих: “А ваше понимание, Василий Васильевич, вот чего стоит”».

Ему было, правда, очень нехорошо в этом чудесном, красивейшем русском городе над речкой Быстрой Сосной (или просто Сосной, как ее тогда называли). Может быть, даже еще тяжелее, чем в Брянске. Как ни трудна была жизнь с Аполлинарией, но, судя по всему, Розанов был из тех людей, кто совсем не умеет жить один, ему нужно было к кому-нибудь да прилепиться.

«Причина тоски моей – моя семейная неустроенность, – элегически признавался он в письмах елецких лет. – Мне трудно и больно думать, что, не попытав никакого семейного и вообще личного счастья, в первую половину моей жизни, я не испытаю его, кажется, и во вторую, что мне не удастся уже по чисто внешним причинам устроить себе тихую и радостную жизнь... Сколько любви было у меня к людям, желания помогать им всегда, и теперь – одна ненависть, совершенное безучастие, одно желание – схорониться куда-нибудь, чтобы никто меня не видел и я никого не видел. Погибла моя молодость, и, кроме тревог и усталости, ничего не несу с собою в старость».

На него по-прежнему давила неудача с первой книгой, и все-таки В. В. не сдавался, спасался работой. В Брянске всю душу отдавал своему философическому роману, в Ельце уговаривал Первova переводить «Метафизику» Аристотеля таким образом, что Первов выполнял перевод, а Розанов делал комментарии. Работа была опубликована в «Журнале Министерства

¹⁶ Очень любопытны переклички между автобиографическими произведениями Пришвина и Гедройц, относящиеся к их учителю. И там, и там Розанова ученики называют Козлом, и там, и там он дергает ногой. Но все же следует иметь в виду, что Гедройц написала свой роман позже и могла что-то у Пришвина позаимствовать. Сам он, судя по его дневнику, ее роман не читал.

народного просвещения», но и эта публикация ни большой известности, ни удовлетворения автору не принесла. «Вдруг два учителя в Ельце переводят первые пять книг “Метафизики”. По-естественному следовало бы ожидать, что министр просвещения пишет собственноручное и ободряющее письмо переводчикам, говоря – “продолжайте! не уставайте!” – написал он впоследствии с досадой в «Опавших листьях». – Профессора философии из Казани, из Москвы, из Одессы и Киева запрашивают: “Как? что? *далеко* ли перевели?” Глазунов и Карбасников присылают агентов в Елец, которые стараются перекупить друг у друга право 1-го издания, но их предупреждает редактор “Журнала министерства народного просвещения”, говоря, что министерству постыдно было бы уступить частным торговцам право первого выпуска книгою великого Аристотелева творения, и он предлагает заготовить 2000 оттисков, так как 2-го издания трудно ожидать. Вот как было бы в Испании при Аверроэсе. Но не то в России при Троицком, Георгиевском и Делянове»¹⁷.

И тем не менее именно Елец стал городом розановского прорыва в большую жизнь. Случилось так, что Розанов заочно познакомился с известным литературным критиком, другом Достоевского и Толстого Николаем Николаевичем Страховым. Именно ему В. В. отправил в январе 1888 года пространное, уважительное письмо с высокой оценкой его трудов и прочими лестными словами, а о себе сообщил, что он учитель гимназии и мечтает встретиться с адресатом очно. Рассчитывал или нет провинциальный философ получить ответ из столицы, но переписка завязалась, и в каком-то смысле можно считать, что впервые за тридцать два года своей нескладной жизни наш герой вытащил по-настоящему счастливый билет. А если учесть, что Страхов был выпускником Костромской духовной академии, в стенах которой пребывал во время оно и розановский мучитель Иван Воскресенский, то можно считать, что судьба таким образом с В. В. посчиталась и долг свой вернула.

Страхов сделался розановским литературным наставником, нянькой, опекуном, проводником и поводырем, хотя произошло это, разумеется, лишь потому, что было кого опекать, нянчить, наставлять и вести.

«В прежние годы, когда я думал о Вас, я всегда думал: он стар и устал бороться; пусть он не знает меня, но я буду его верным учеником, – писал В. В. – Теперь, когда я Вас знаю, я прошу Вашего благословения в свой будущий путь...»

Н. Н. благословил, и Розанов в течение нескольких лет писал ему письма, длинные, обстоятельные, очень умные, в которых было много размышлений, наблюдений, умозаключений, тонких оценок работ современных писателей, критиков и философов, личных переживаний (в том числе история его несчастного брака), и все это находило у Николая Николаевича сочувствие и так не хватавшего Розанову *понимания*, и на этом фоне вышеприведенное воспоминание Первого выглядит особенно ярко, как понятен и розановский крик души: «...хочется мне вырваться из своего учительства, которое не дает ни времени для занятия, ни, главное, *возможность хотя бы 15 часов кряду думать об одном чем-нибудь*, не думать о морях, заливах

¹⁷ Вот что писал по этому поводу В. В. Биbihин в предисловии к изданию перевода Розанова и Первого в 2006 году: «У Первого и Розанова мы имеем первый или может быть даже до сих пор единственный органичный перевод Аристотеля, впервые осваивающий этого автора в традиции нашей мысли. <...> Попытка молодого Розанова создать русского Аристотеля, оставшаяся 115 лет назад почти совершенно не замеченной, как и его написанная в те же самые годы большая философская книга, напоминает о неразвитых возможностях нашей культуры. Будь наш культурный климат другим, мы знали бы не только публициста Розанова. Мнение о якобы оставлении им раннего увлечения неверно; о своих философских работах он никогда не забывал. <...> После Розанова никому из наших исследователей и переводчиков Аристотеля не удалось настроиться на верный тон. Философа поняли в России тяжеломерно и переусложненно, его отчетливость перевели в формализм. Алексей Федорович Лосев пережил бездонную глубину Платона, но в Аристотеле увидел мало что кроме дескрипций и дистинкций, приняв его за “первого профессора в истории философии”. <...> Как с известным нам журнальным Розановым, так и с Розановым-комментатором легко, весело; он всегда одаривает читателя; его увлечения интересны, многозначительны; все его трактовки текста так или иначе движутся в русле античной мысли. Аристотель у Первого и Розанова не косноязычная пифия, множащая перед нами неразрешимые загадки, а открытый всматривающийся во все ум. Люди в разные эпохи и в несхожих разноразличных обществах заняты одним. Они отвечают на вызов тайны».

и проливах, о войне “Алой и Белой Розы” и всем прочем, до чего мне нет дела, что я с каждым днем начинаю ненавидеть более и более, до отвращения, до неистощимой озлобленности, до нервного заболевания, – если мне удастся иметь досуг, я думаю применить эти категории к физической природе и, особенно, к явлениям нравственного порядка. Ах, дорогой Николай Николаевич, сколько мыслей в голове, и... должен день за днем – вытаскивать учебнички географии и истории и приготовляться по ним к урокам, а там идти в класс, чтобы мучить и мучиться...»

У В. В. впоследствии будет сложное отношение к Страхову («между нами пробежала черная кошка», – напишет он в 1892 году), да и сам Николай Николаевич был, мягко говоря, весьма непростой и неоднозначной личностью, но тем более важно розановское признание 1913 года при публикации писем Страхова: «Поистине, Бог наградил меня как учителем Страховым; и дружба с ним, отношения к нему всегда составляли какую-то твердую стену, о которую я чувствовал – что всегда могу на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреет. К молодежи я сказал бы эти слова: старайтесь среди стариков, среди пожилых *вовремя* запастись вот таким другом, и он сохранит вас как “талисман” Пушкина: От *измены, непогоды...* и проч. и проч.».

Страхов отговаривал Розанова уезжать из Ельца; из его писем мы узнаём, что в 1890 году Розанов был на грани самоубийства, о чем Страхову написал («если бы были легкие способы умирания, если бы продавали опиум в аптеках, нисколько бы я не задумался умереть. До того мало счастья, до того бесконечна жизнь») и получил суровую отповедь: «Как вы решились писать мне о самоубийстве? До чего вы дошли. Не ссылайтесь на тягость и тоску; убить себя можно даже от того, что прыщик вскочил на носу. Разницы, в сущности, нет никакой. Но есть разница между человеком, для которого жизнь есть поучительный и воспитательный опыт, какова бы она ни была, – и таким, который не хочет ничему учиться и ни с чем бороться, а хочет только, чтобы ему было приятно». Страхова же после их личной встречи в Петербурге Розанов вопрошал, не производит ли он впечатление душевнобольного, и получил заверение, что ничего кроме обыкновенной нервозности в нем нет. Наконец, именно Страхов помог Розанову опубликовать в 1889 году его первые статьи, и можно себе представить, как много это значило для учителя из Ельца. И не только в моральном, но и в материальном отношении. Благодаря Страхову стартовала карьера Розанова журналиста, эссеиста и литературного критика, что признавал и сам его благодетель: «Вы теперь человек известный; в четырех журналах, “Рус. Вестн.”, “Вопросах Философии”, “Журнале Министерства народного просвещения” и в “Русском Обозрении” – Ваша статья не залежится, а будет тотчас прочитана и оценена».

Вслед за относительно небольшими текстами последовала ставшая классической «Легенда о Великом инквизиторе Достоевского» в «Русском вестнике», с которой началась пестрая литературная судьба Василия Розанова. «Стыдно писать о себе, но думаю, бедный, что мой разбор “Легенды” будет одна из больших, серьезных и ценных работ у нас критических. Я ею доволен на всем протяжении. Именно – его я и считаю своим вступлением в литературу...»

Затем была программная статья в «Московских ведомостях» «Почему мы отказываемся от наследства 60–70-х годов?» («где: об Государе Александре II и его убиении, об молодых профессорах, нас нередко развращавших, объяснение с Н. Михайловским и проч.»)¹⁸, и так

¹⁸ Есть очень интересное воспоминание С. Н. Дурылина в его книге «В своем углу» как раз в связи с этой статьей, а вернее с критикой на нее: «Вспомнил, когда я впервые узнал о Вас. Вас-че. Живо помню: я мальчик, самое большее – мне 13–14 лет. Я читаю объявление о книге Михайловского “Литературные воспоминания и современная смута”, и особенно меня поражает в перечне содержания этой книги одна строчка: “О г. Розанове и его отказе от наследства”. Я был большой фантазер и большой литературщик и сейчас же соорудил себе объяснение: Розанов, некий Розанов отказался от наследства, которое кто-то ему оставил, а он этих денег, этого имущества не принял, считая, что нехорошо принимать наследства, и о том где-то печатно объявил, а вот г. Михайловский и обсуждает теперь, хорошо или нет сделал г. Розанов и нужно или нет отказываться от денег по наследству... Я уже слышал тогда через Колю Михайлова смутное что-то о социалистах, о толстовцах, о том, что богатство – это что-то “от кражи” (имя Прудон я слышал еще вовсе ребенком, едва ли не в 7 лет от брата Пантелеймона, и тогда же

именно 1891 год, год тридцатипятилетия, стал для Василия Розанова переломным. Только в отличие от дантовского героя, земную жизнь пройдя до половины, В. В. очутился не в сумрачном лесу, но, напротив, из «темного погребца» вышел на волю и сделался известен читающей публике. Пусть не сразу она обратила на него внимание и слава пришла к провинциальному литератору не на следующий день, но тем не менее к новому имени постепенно стали привыкать, а сам он начал обрывать литературными связями преимущественно в консервативном лагере.

Впрочем, на очень интересное обстоятельство обратил внимание литературовед В. Б. Катаев, который процитировал запись из архива Чехова, относящуюся к концу 1880-х – началу 1890-х годов: «...пока мы в своих интеллигентских кружках роемся в старых тряпках и, по древнему русскому обычаю, грызем друг друга, вокруг нас кипит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем. Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев, и вы увидите, что купец Сидоров и какой-нибудь учитель уездного училища из Ельца, видящие и знающие больше, чем мы, отбросят нас на самый задний план, потому что сделают больше, чем мы все вместе взятые».

Отбросил или нет Розанов Чехова на задний план, да и вообще имел ли в виду Антон Павлович именно Василия Васильевича, вопрос спорный, но знал он о нем совершенно точно и его сочинения читал, хотя отзывался о них поначалу не слишком одобрительно. Так, в письме Суворину в мае 1897 года, давая характеристику новому сотруднику «Нового времени» Энгельгардту, Чехов писал: «У Вашего нового сотрудника Энгельг<ардта> несомненно бьется публицистическая жилка, но какая это уже не молодая, неясная голова. Принадлежит он к той же категории, что и Розанов, – так сказать, по тембру дарования. У этой категории нет определенного мирозерцания, есть лишь громадное, расплывшееся донельзя самолюбие и есть ненавистничество болезненное, скрываемое глубоко под спудом души, похожее на тяжелую могильную плиту, покрытую мохом».

Тут вот что еще любопытно: спроси навскидку любого человека: кто старше, Розанов или Чехов? Уверен, что большинство, не задумываясь, назовет Чехова, хотя родился на четыре года раньше «учитель уездного училища из Ельца», что еще раз доказывает, как медленно, трудно и поздно входил наш честолюбивый герой в литературу.

С Чеховым никаких личных отношений у него не сложилось, а среди его новых знакомых оказались редактор-издатель «Русского вестника» Федор Николаевич Берг, молодой и очень рано скончавшийся философ Федор Эдуардович Шперк, политический заключенный 1870-х, а впоследствии религиозный мыслитель Юрий Николаевич Говоруха-Отрок, публицист Иван Федорович Романов, писавший под псевдонимом Рцы, с которым впоследствии Розанов очень подружился: «Трех людей я встречал умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: Шперка, Рцы и Флоренского». Но, пожалуй, самым дорогим, самым сокровенным розановским читателем оказался проживавший в ту пору в Оптиной пустыни близ старца Амвросия философ Константин Николаевич Леонтьев, который, судя по переписке со Страховым, всегда вызывал у В. В. острый интерес и вместе с тем недоверие.

«Кто он такой, по положению, по имуществу, по психологии – мне бесконечно захотелось узнать. Какой хаос по изложению – и какие умные замечания... Но сквозь ум – какая самоуверенность до наглости, какая как бы сухость сердца, и этот “государственный бич над ‘народом-богоносцем’”, которого он требует, подсмеиваясь над Достоевским. Отвратительный

его запомнил, но только одно голое имя), что-то нехорошее “от угнетения”, – и, должно быть, это “смутно слышанное” как-то выразилось во внимании моем к строчке из оглавления Михайловского: “О г. Розанове и его отказе от наследства”. Я это крепко запомнил – что вот некто Розанов отказался от наследства (деньги, имущество). Таково было мое первое, совершенно фантастическое знакомство с Вас. В-чем. И только десятки лет спустя я узнал, что отказался-то он не от “наследства” (никогда ни от кого не получал, не от чего было и отказываться), а от толстых книг Добролюбова и Чернышевского – и за то получил должное возмездие от их “идееприказчика” – Михайловского».

человек, должно быть, но как запоминаются его слова... Я вовсе не хотел бы с ним познакомиться».

Тем не менее именно этот «отвратительный человек» первый написал весной 1891 года Розанову письмо, заставившее адресата переменить свое отношение к возможности их знакомства. «Скажу Вам новость: от К. Н. Леонтьева, первой умницы нашего века, вдруг получаю письмо, – сообщал Розанов Страхову, и розановская скорая перемена ума и настроения – вещь весьма характерная. – Сегодня я ему написал ответ. Вы знаете, до чего я его люблю, и поймете мою радость».

После этого между двумя философами, «старым» и «малым», завязалась переписка, очень интересная, искренняя, с обеих сторон крайне доверительная, скрасившая одиночество одного и последние месяцы жизни другого (Леонтьев умер в ноябре того же 1891 года). Она, правда, так и не привела ни к личной встрече, ни к посвящению В. В. в ученики, либо в продолжатели дела Константина Николаевича по той простой и сложной причине, что Розанов в принципе не мог быть ни чьим учеником. Слишком самостоятельный, слишком своеобразный и самодостаточный («Не совокупляющийся человек – духовно. Человек – “solo”», – писал он сам о себе). Но надо оценить усмешку судьбы, пославшей обличителю «розового христианства» в качестве последнего собеседника обладателя именно этой фамилии.

В личности Леонтьева уже после смерти Константина Николаевича Розанову еще предстояло открыть неоднозначные черты и обсудить их со Страховым, который эту дружбу изначально не приветствовал, но, как человек воспитанный, своего неодобрения до поры до времени не высказывал. И когда В. В. впоследствии вспоминал, что его личной встрече с Леонтьевым помешали «какая-то лень и суеверие, что я не увижу именно то дорогое и милое, что образовал уже в представлении о невиденном человеке, заставляло меня нисколько не спешить свиданием, да и вообще не заботиться о нем», то в этих словах был более глубокий смысл, нежели может на первый взгляд показаться. Однако из всех «литературных изгнанников», как назовет Розанов затравленных либеральной критикой писателей консервативного толка, Леонтьева он все равно будет называть чаще всего и с самым большим пиитетом: «Леонтьев – величайший мыслитель за XIX в. в России. Карамзин или Жуковский, да, кажется, и из славянофилов многие – дети против него. Герцен – дитя. Катков – извожик, Вл. Соловьев – какой-то недостойный ёрник. Леонтьев стоит между ними как угрюмая вечная скала. “И бури веют вокруг головы моей – но голова не клонится”».

Именно рядом с этой «скалой» Розанов будет похоронен в Черниговском скиту Троице-Сергиевой лавры. Так ни разу не встретившиеся при жизни, они по сей день лежат вместе после смерти...

О любви

И все же главное событие елецких лет – знакомство Василия Васильевича с Варварой Дмитриевной Бутягиной, урожденной Рудневой, которая впоследствии стала его второй женой. Сюжет этот хорошо известен, многожды описан и воспет Розановым в самых разных его сочинениях, и по контрасту с Аполлинарией Прокофьевной Варвара Дмитриевна была на розановском родовом древе все равно что благообразный дед по отцовской линии против inferнального по материнской. Пожалуй, ни одной женщине, да вообще ни одному человеку не посвятил наш герой столько чудесных, ласковых, восторженных, благодарных слов в своих сочинениях. Друг, мама, мамочка, В. Д., она встречается в «Уединенном» и в «Опавших листьях» чуть ли не на каждой странице, где Розанов пишет о себе, о своей семье (а вот Аполлинарии Прокофьевны там нет – так часто отзывавшийся о первой жене в частной переписке, Розанов не пустил «любовницу Достоевского» в большую литературу).

Варвара Дмитриевна была молодой вдовой, что положительно оценил Леонтьев. «Что Варвара Дмитриевна вдова, этому я *очень* рад. Вдова может быть скоро и верно понята и сама все скоро поймет. А у девушек вечно сумбур в голове. Девушки для добросовестного мужа очень опасны! Загадочны и обманчивы...» Муж ее, сын священника и учитель церковно-приходской школы Михаил Павлович Бутягин, умер еще до переезда Розанова в Елец, но ни Василий Васильевич, ни Варвара Дмитриевна и предположить не могли тогда, как страшная смерть Михаила Павловича, а вернее, болезнь, от которой он скончался, трагически отзовется в их собственной жизни много лет спустя. Однако в ту пору у них были совсем другие заботы и другие ощущения, и самое сильное очарование Розанов испытал от маленького дома возле Введенской церкви, где он увидел то, чего был лишен в своем горьком детстве. Но прежде – о самой церкви, прихожанкой которой были Варвара Дмитриевна и ее домашние и о которой В. В. оставил замечательное, сокровенное свидетельство.

«Я все больше склоняюсь к православию и только ищущего выражения его духа; вчера, накануне Введения, я пошел в церковь к Введению – маленькой церкви, против коей живу: правда, у меня обстоятельства личные горькие, и я могу быть растроган, но вчера всю Всенощную неудержимо плакал от умиления и от красоты всего богослужения и всех песнопений и толпы народа молящегося (была давка сильная). Так дружно, так хорошо молились все, и я “оторванный от ветки листочек дубовый”, как и все мы, пропадающие образованные люди, стоял, молился и плакал и в редкие минуты, когда вспоминал о своей литер. деятельности, думал, что никогда и ничему не буду служить и не могу служить лучше, как приведению общества к этому чистому и радостному свету, кот. есть в религии, в церкви, в мирной толпе молящихся людей, у которых нет зависти друг к другу (в это время), нет злобы бедных к богатым, презрения богатых к бедным и пр., и все они слеплены в одном хорошем, братском чувстве, когда молятся. И вчера же только я как-то непосредственно ощутил, что и в католическом, и в протестантском храме не может быть так хорошо, как в православном, и не может быть таких глубокомысленных и *верующих* по тону песнопений, как в православном. И тут же, слушая эти песнопения, все думал – какое счастье сочинять их, еще лучший тон придать голосу; а смотря на образа – думал, какое счастье рисовать эти образа и все лучше и лучше выражать в них религиозное чувство, чувство скорби Бога за человека или прощения ему и пр. Поистине, в первый раз вчера я был истинно православным. И понял, что будут и среди художников, и среди композиторов люди, которые почувствуют себя иначе, чем наши художники и музыканты, и все будет у нас, все – и культура, и другое искусство, и другая философия – с чертами святости, с пониманием этого и стремлением к этому. Да, странно все это было, и много я вчера пережил, во многое поверил и сердцем и умом как в *возможное*».

Эти строки из письма Страхову тем более важны, что они подчеркивают действительно глубоко религиозный, возвышающий характер и той «беззаконной» любви, что, как убийца, выскочила в Ельце из церковного переулочка, и тех искренних переживаний, которые розановская душа – тоже ведь по натуре христианка – знала. А потому как бы далеко впоследствии В. В. от христианства ни уходил, как бы ни ругался с ним, сколько бы ни богохульствовал и ни злословил, все равно возникшее или, лучше сказать, проявившее себя в Ельце – там, где он еще помнил, как пишется слово «нравственность», – чувство никуда из его сердца не делось. Оно было для нашего непонятого философа залогом возвращения, было тем или кем, кого апостол Павел называл «удерживающим теперь». И точно такой же «удерживающей» стала для него семья Варвары Дмитриевны.

«Как я могу сказать, что мне не “Бог указал”, не “Бог привел”, когда я увидел среди жизни “не богаче нашей костромской” жизнь, совершенно другую, совершенно иначе построенную и *зарожденную* с совершенно другим законом бытия, в сущности выраженном в одной строке – “не осуждать брата моего”, – писал он позднее Павлу Флоренскому. – Что у них было? – Ничего. На кого сердились? – Ни на кого. Чем были недовольны? – Даже и этого нельзя сказать: всем довольны. А жили буквально только “до завтра”, ото дня ко дню. Тут и есть зародыш маленького моего консерватизма: искание *нормы души* как основы нормы и *уклада жизни*. В Костроме мы были не беднее, чем они в Ельце: 1) домик; 2) огромный огород и малина и всякие ягоды при нем, – хватало до поста “своего”, 3) мать, хоть больная, но сын (и талантливый) 19 л. И дочь 17–18, вполне здоровые; да Митя “придурковатый” и добрый, да мы с Сережей – маленькие. Но – ВСЕ ПРОВАЛИЛОСЬ в чудовищной анархии.

В Ельце: Бабушка, дочь, внучка, домик гораздо меньше, сада и огорода – никакого. Но они были в высшей степени все БЛАГОРОДНЫ, – и им все спешили помогать... Я был до того изумлен, что можно *так* жить, после своей Костромы, после ужасного костромского холода, после ужасной костромской безлюдности (среди людей), после всей этой собачьей и окаянной жизни, где даже дети-то, кажется, все друг друга ненавидели, где ни в ком не было уважения и любви, никто ни с кем *не говорил*, никогда не было улыбки, шутки, смеха... Тут я до того убедился, что “можно жить” зиждется не на экономике и “условиях жизни”, а на душе, и, по моему (тут дело и заслуга ЦЕРКВИ), – просто на образе и зажженной лампадке... Словом, меня дом Вари “прибрал, причесал, вымыл и сделал хорошим мальчиком”. Я ему безмерно обязан...»

В 1916 году, в «Последних листьях», написанных фактически в пору разлада, нового семейного кризиса в его жизни, В. В. с нежностью вспоминал начало своего елецкого романа:

«...заглянув в “глубокий колодезь дома Рудневых – Бутягиных” – полюбил их всех. И полюбя – почувствовал неудержимую буйную радость: и в тот же момент стал счастлив.

Я отчетливо помню, что тогда мне все хотелось смеяться (до этого – никогда), я готов был сесть и в стуколку, и в преферанс, ну, и пуще всего – поехать бы с милой... к Бибиковым, куда угодно, но с милой.

С грациозной, тихой или чуть слышно резвой девушкой (впрочем, она была вдова. Все равно).

Она мне нравилась. И стал весь мир нравиться.

Так вот. Секрет в любви.

Причем замечательно, что я не влюбился тем “убойным способом”, когда люди теряют голову, сумасшествуют и пр., и пр., и пр. Этого я вообще в жизни не знал. Совсем другое. Я только очень уважал. О – очень, очень, очень. И еще меня уже поразило: что ей я “нравлюсь”, что меня она выбрала “другом”, что для нее я “кое-что”. Это было неожиданно.

Ну, – и нравилась. И ее серое пальто, и скромная шляпа, с “простой лентой”, – и тогда эта зеленая вуалька (лето). А когда поднимет вуальку, эта ямка на щеке.

И какая-то постоянная ее внутренняя серьезность».

«Папа ухаживал за мной странно, неуклюже и смешно, – рассказывала Варвара Дмитриевна своей старшей дочери Татьяне. – Когда я к Василию Васильевичу ходила, он меня только черным хлебом угощал и чаем с молоком. А на столе у него бутылка водки стояла и штопор на самом видном месте, а сам никогда не пил... Тюлевые занавески я купила, повесила. Он обстановку любил, угостить любил».

...А началась эта чудесная история весной 1889 года, когда Василию Васильевичу исполнилось 33 года, а Варваре Дмитриевне – 25, и он подарил ей свою фотографию, на которой написал:

«Мое и Ваше прошлое было грустно.

Настоящее у нас хорошо.

Станем же поддерживать друг друга, жалеть и не осуждать за взаимные недостатки, чтобы и будущее стало для нас не худо.

Варваре Дмитриевне Бутягиной от преданного, любящего и уважающего друга Василия Розанова. Елец, 1889 г. – мая 25».

«То, чего так долго, так мучительно и всегда напрасно искал я всю мою жизнь – любви счастливой, равной, с тем добрым и ясным светом, которым может светить только жизнь народа, без умничаний росшая тысячу лет, – это, наконец, я имею, – писал Розанов Страхову месяц спустя. – Теперь я люблю без всякой примеси идейного, и без этого же полюбило меня доброе, хорошее и чистое существо. Мы рассказали друг другу свою жизнь, со всеми ее подробностями, не скрывая ничего, и на этой почве взаимного доверия, уважения и сочувствия все сильнее и сильнее росла наша дружба, пока не превратилась в любовь... Но все-таки страшно подумать, как же мы будем любить друг друга, оставаясь чужими, как устроится наша жизнь? “Как-то темно в будущем” и у меня, как говорит моя бедная Варя (ее имя), думая про себя и свою любовь ко мне. Но мы будем заботиться друг о друге, беречь и жалеть друг друга в жизни, – этого уже довольно, чтобы жизнь не показалась холодной и бесприютной... Я и счастлив и несчастлив: счастлив полною любовью, абсолютною преданностью; несчастлив, и иногда невыразимо глубоко, до отчаяния, что я уже не заслуживаю этого счастья, что она была бы счастливее, полюбив другого... Не знаю, что дальше у нас будет: как могу я быть спокоен, когда я ничем для нее не жертвую, а она для меня всем».

А через несколько месяцев с грустью добавил: «чувствую себя очень несчастным от неспособности сделать чье-нибудь счастье. Мое здоровье ничего себе, и, перестав заниматься писательством, я чувствую себя хорошо, но вот женщина, которая отдала мне все, не оставив для себя ничего, – видимо, и сильно потрясена в здоровье. Не дал я счастья жене своей и не умею дать и теперь. Для чего живет такой человек, как не спросишь?»

Что такое развод?

Противоречивые чувства Розанова, временный отказ от литературной деятельности и упоминание жертвы со стороны Варвары Дмитриевны были вызваны разными обстоятельствами, но прежде всего тем, что брачная ситуация складывалась отнюдь не в пользу философа и шансов на счастливое завершение этого романа было немного. И дело заключалось не только в крайне неопределенном семейном положении «женатого жениха», но и в сомнениях невесты и ее родных: а стоит ли вообще молодой вдове связывать будущее свое и своей семилетней дочери с этим странным, смурным человеком, беззастенчиво вторгшимся в их тихую жизнь? Не лучше ли подождать кого-то другого, более основательного, солидного и никакими обременениями не отягощенного?

«Пишу Вам в большом беспокойстве, и его источник в моих личных делах, – спешил посоветоваться Розанов со Страховым. – От тяжести души выскажу Вам его, а также и с надеждою, хотя и неверною, что Вы как человек, очень много видевший людей и очень разнообразных, скажете мне и слово опытного и проницательного человека. Только сейчас узнал я вот что: доктор по нервным болезням, а также психиатр, по имени Россолимо (в Москве) сказал месяцу тому назад женщине, о привязанности к которой я Вам писал год назад и которая ездила к нему в Москву посоветоваться о здоровье, сказал, не подвергая ее расспросам еще, но только долго смотревши на нее, что она находится под влиянием человека гораздо ее сильнеешего душою – очень развитого, что этот человек – душевнобольной, и если заблаговременно не примет мер – то должен будет сойти с ума, но что она, находящаяся под влиянием этого человека, может помешаться гораздо раньше, именно в год приблизительно. Это хранилось от меня в тайне, и только сегодня я узнал всю истину. Она сказала ему, что любимый ею человек занимается литературой, с большой страстью. Он сказал, что так как оставить это ему (т. е. мне) немислимо, то, по крайней мере, я должен на несколько месяцев прервать свои занятия и начать заниматься, сколько можно меньше... Вы видели меня 2 недели и скажите искренно, правдиво – правда ли, что я ненормальный, правда ли, что могу влиять столь искажающим образом на близкого, душевно связанного человека? Болезни во мне нет, но *должен ли я лечиться?* Литературу я решительно оставляю на неизвестно какое время, – но что делать с этой вечной забывчивостью от окружающего, с вечно и бессознательно бегущими мыслями? Ради Бога не оставляйте меня словом Вашим, в котором я нуждаюсь».

Страхов его не оставил, успокоил, литературу В. В. не бросил, но вряд ли идея поездки молодой женщины в Москву к не известному тогда никому врачу-психиатру, а впоследствии корифею отечественной медицины Григорию Ивановичу Россолимо родилась на пустом месте. Видно, было в поведении, словах, в самом характере ухажера что-то, спровоцировавшее опасения ее или ее родных, заставлявшее их подозревать его в скрытой душевной болезни, о чем позднее напишет также первый биограф Розанова Эрик Голлербах, а журналист и публицист Михаил Осипович Меньшиков сделает вывод о том, что Розанов не будет забыт именно благодаря своему «психопатическому своеобразию»¹⁹. Так это или не так, но в любом случае одно дело гением быть, другое – с гением жить. И хотя в конечном итоге Варвара Дмитриевна свой выбор в пользу Розанова сделала, этот психологический сюжет имел продолжение в будущей весьма непростой совместной жизни супругов в петербургский период.

¹⁹ Ср. в «Уединенном»: «В мое время, при моей жизни создались некоторые новые слова: в 1880 году я сам себя называл “психопатом”, смеялся и веселился новому удачному слову. До себя я ни от кого (кажется) его не слышал. Потом (время Шопенгауэра) многие так стали называть себя или других; потом появилось это в журналах. Теперь это бранная кличка, но первоначально это обозначало “болезнь духа”, вроде Байрона, – обозначало поэтов и философов. Вертер был “психопат”».

Однако это все будет потом, а прежде нашей паре надо было победить другое обстоятельство непреодолимой силы. А именно – разобраться со злосчастным «идейным» браком жениха, заключенным в ноябре 1880 года и, как уже говорилось, не подлежащим по законам того времени расторжению без основательных причин, коих могло быть три: неспособность к деторождению (под которой подразумевалась в основном мужская импотенция), пятилетнее безвестное отсутствие и прелюбодеяние. Еще до знакомства с Варварой Дмитриевной Розанов попытался вопрос с разводом уладить, почему, собственно, и не давал жене вида на жительство, фактически ее шантажируя, вынуждая ему уступить и сделать все, что он ни попросит. Однако – не на ту напал, и здесь нам снова придется вернуться к Аполлинару Прокофьевне.

Уже общим местом стало обвинять Суслову в том, что противная баба, как собака на сене, не давала мужу развод, нанеся тем самым ему чудовищную рану и исковеркав жизнь ему, его второй жене и их общим детям. Это все действительно так, Аполлинария, несомненно, была, как сказал бы Андрей Платонов, «женщиной тяжелого поведения», только надо хорошо себе представлять, что это означало и что за ее упрямым несогласием стояло.

Летом 1887 года, то есть сразу же после расставания с мужем, Суслова (хотя правильнее, конечно, называть ее Розановой, так как, выйдя замуж, она поменяла девичью фамилию и жила с мужчиной до конца дней) уехала в Крым к своей знаменитой медицинской сестре и получила от графини Салиас, которая с самого начала отрицательно относилась к ее неравному браку («Если бы не пошли за Розанова, кто знает, быть может, была бы мать семейства, счастливая»), письмо следующего содержания (здесь и далее письма графини цитируются по книге Л. И. Сараскиной «Возлюбленная Достоевского»):

«...Вы спрашиваете у меня, знаю ли я, что такое развод. Не знаю процедуры подробно, но мне 73 года минет завтра, и я на своем веку видела десятки разводов, женщин легкого поведения и женщин вполне добропорядочных и которых все уважали. Когда муж берет вину на себя, он все и устраивает. Жене дают подписывать бумаги. Еще недавно одна милая, добрая, красавица-женщина 24 лет, у которой муж требовал развода, дала ему его и все бумаги подписала. Она любила своего мужа, но насильно с ним жить не хотела. И связывать его тоже не хотела. Бывают случаи, когда жена не дает развода – это когда есть дети. В таком случае, не желая сводной семьи, т. е. других детей от другого брака, отказывали или не отказывали потому, чтобы дети не были поставлены в положение встречать вторую жену отца при живой матери. Вы не хотите дать развода – это Ваше дело, – но не говорите вздора. До Вас и по сей час развод дают самые добродетельные, достойные уважения женщины, когда их муж (недостойный во многих случаях) его требует. По моей [?] я всегда давала Вам советы хорошие. Вспомните, как я не желала Вашего замужества со студентом. Навыходили. Смотрите теперь, чтобы этот муж, которого Вы насильно желаете быть женою, не наделал бы Вам бед. В его руках много для этого способов. Он может Вас по этапу к себе вытребовать – и не прибегая к такому резкому способу действий – просто не дать Вам паспорта: и заставить сидеть подле своей любовницы. Да и мало ли что? Мне же Вас жаль. Вы выбились из колеи. Вы сами не знаете, что делаете. Вероятно, Вы его очень любите. Но... насильно мил не будешь, а я думаю, что он человек нехороший и без правил».

Ирония этого сюжета заключалась в том, что Розанов был отнюдь не первым литератором, в чью семейную драму была вовлечена популярная русская беллетристка с заморской фамилией. В начале шестидесятых годов XIX века Елизавета Васильевна сделала литературной опекуницей молодого (хотя как сказать молодого, ему было уже под тридцать, то есть примерно столько же, сколько в описываемый период и Розанову) писателя Николая Лескова, перебравшегося из Киева в Петербург. Она ввела его в столичные литературные круги и пригласила работать в принадлежащую ей газету «Русская речь», и, наконец, она же попыталась решить его семейную ситуацию и помирить писателя с женой Ольгой Васильевной, которую тот оставил в Киеве и которая нагрянула в Петербург и заявила о своих супружеских правах. Из миротвор-

ческой затеи графини ничего не вышло, если не считать невероятного лесковского раздражения, несколько лет спустя вылившегося в литературную месть: в романе «Некуда» автор изобразил Сальсяиху, как он презрительно называл Елизавету Васильевну, в образе «углекислой феи», «маленькой, вертлявой и сухой» маркизы де Бараль, имеющей зайца в голове. Обо всем этом невероятно увлекательно с превосходными цитатами из самого Лескова и его современников написала в недавно вышедшей книге о Лескове «Прозванный гений» Майя Кучерская, но для нас самое поразительное во всей этой истории то, что фамилия героя, обладающего в лесковском романе очевидными автобиографическими чертами... Розанов!

Именно он, доктор Розанов, претерпевает от собственной законной жены много-много горя и, наконец, расстается с ней и находит утешение в гражданском браке – то есть фактически Лесков начертал и напроорочил в своем сочинении путь человека, у которого нечаянно позаимствовал «булочную» фамилию для своего протагониста.

Придавал или нет значение этому вещему сюжету сам В. В., утверждать не возьмусь, однако Лескова он ставил всегда очень высоко, а возвращаясь к его собственной семейной ситуации, следует страшно пожалеть, что ответные письма Аполлинарии к «Сальсяихе» не сохранились. И тем не менее выраженная весьма отчетливо позиция ее старшей подруги помимо негативной оценки личности В. В. как нехорошего человека без правил, позволяет сделать вывод, что на самом деле Розанова не хотела отпускать Розанова от себя, и это еще раз доказывает: она его не бросала и стремилась к тому, чтобы они опять сошлись.

А вот он, вырвавшись на свободу, возвращаться, сходить с ней снова не собирался, и год спустя, в июле 1888 года, беспокойная графиня пишет Полине: «До меня дошло, что муж Ваш требует развода. Умоляю Вас не противиться этому и согласиться, только не берите вины на себя. Вы ничем не виноваты. Не противьтесь, дайте развод, насильно мил не будешь. Если же Вы не дадите развода, то он может многое худое Вам сделать. Я считаю, что если муж требует развода и детей нет, то его непременно надо дать. Зачем Вам быть связанной с человеком, который Вас не любит и любит другую. Послушайте меня. Вы должны поступать с чувством собственного достоинства, а не как влюбленная девчонка – ведь Вам не 25 и даже не 30 лет. Это мой совет... Не лезьте в беду. Не отказывайте мужу, если он Вас знать не хочет, а хочет жить врозь. Поверьте, насильное сожителство кроме беды, горя, недостойных действий ничего не принесет».

Через полтора месяца Елизавета Васильевна свой взгляд вдруг изменила: «И я прихожу к такому мнению: не лучше ли Вам помириться с мужем и жить тихо и спокойно, как все живут, не слоняясь и не ища то того, то другого, будто Вы выброшены из колеи... Разумеется, если желаете жить с мужем, покоритесь его ветрености и неверностям».

Но вскоре произошло нечто, что заставило графиню вернуться на прежние позиции и с еще большей яростью их защищать: «Я с ужасом прочла Ваше письмо. Как? После всех своих мерзостей и позорного поведения, как мужа, он требует, чтобы Вы взяли на себя вину. Этого ни одна порядочная женщина не сделает. И еще требует при этом денег. Полинька, если Вы меня любите и уважаете, я, как старая женщина, как мать, запрещаю Вам этому человеку давать хоть копейку. Он один, детей нет, жалованье у него есть, при котором живут с женой и детьми, так какая же бедность. Он, как перст, один. Если Вы дадите хоть копейку, Вы пропали и будете обобраны дотла, до нитки. Я вижу, какой это господин... Послушайте меня, откажите в деньгах, откажите (всенепременно, я всегда это Вам советовала) взять вину на себя. Это немыслимо взять на себя позор. Я знаю одну, которая мужа обманула, была уличена в преступной связи, муж хотел развода и, чтобы жену свою не позорить публично, взял вину на себя! А Вы, чистая, жизни добродетельной, зачем Вы возьмете позорное на себя пятно. И как он осмелился предложить это! Словом, бросайте его, не давайте денег, и если хотите непременно развода, пусть берет вину на себя, и ни гроша Ваших денег. Если он просит денег для ведения дела о разводе, это удочка, чтобы обобрать Вас. Ныне дай 200, а там 300, а там 500, и конца не будет. Что же

касается до отдачи, то он Вам единого гроша не отдаст, и останетесь Вы без мужа и без денег и к Вашим зрелым годам без куска хлеба. Берегите свои деньги, умоляю Вас, для Вас самих, для Вашей независимости и для Вашего спокойствия. Я вижу, если Вы дадите мужу своему хоть что-либо, он вытянет от Вас все Ваше состояние».

Что там происходило на самом деле, какова была подоплека, что такое написал Розанов Сусловой, что отвечала ему она, что писала своей опытной наставнице и что подразумевала та под «ветреностями и неверностями», с которыми нужно смириться, а также под «мерзостями и позорным поведением», которое принять никак нельзя, какую другую любил Розанов в 1888 году (то есть до знакомства с Варварой Дмитриевной Бутягиной), насколько остро стоял перед ним денежный вопрос – все это доподлинно неизвестно. А потому полностью восстановить картину отдельной семейной драмы конца позапрошлого века, спровоцировавшей впоследствии лавину розановского гнева против общественных и религиозных устоев России, а заодно против всего христианского мироздания, скорей всего, не удастся, но очевидно одно. Проблема была не в том, что Аполлинурия Прокофьевна из-за вредного характера не хотела давать мужу развода, как можно прочесть в любой книге или статье о Розанове, описывающей эту историю. Проблема заключалась в том, что она не хотела *брать вину за развод на себя*, то есть публично признавать свое прелюбодеяние, которого попросту не было и которое Розанов впоследствии задним числом попытался ей приписать. Вот почему не права была дочь Розанова Татьяна Васильевна, когда писала в своих воспоминаниях, что ее отец для получения развода «брал всю вину на себя». Нет, не так все было! И не потому, что он был недостаточно благороден и великодушен, а потому, что не мог признать виноватым себя, а особенно после того, как в его жизни появилась Варвара Дмитриевна, ибо по тогдашним законам тот из супругов, кто прелюбодействовал, не имел права второй раз вступать в брак.

Это была ситуация трагическая, неразрешимая, тогда-то Розанов и написал полные горечи строки Страхову (заметим, ни в чем не обвиняя на тот момент Суслову, а, напротив, виня себя в том, что не сумел дать этой женщине счастья): «Жениться я не могу, и только теперь я впервые почувствовал, что в самом деле кое-что в нашей жизни, в устройстве нашего счастья зависит от законов и учреждений. По последним – мы можем разлучиться с женою и я могу жить с кухаркой или развратничать по публичным домам, но никак не могу жениться на уважаемой и любимой женщине. Это требуется во имя Евангелия, во имя союза Христа с церковью».

Вот – истоки розановского бунта и против Евангелия, и против Христа, и против Церкви. А дальше ситуация лишь усугублялась и привела в конце концов к взрыву.

Таинство

В 1890 году умер отец Аполлинарии Прокофий Григорьевич Суслов, в чьем доме она проживала.

«Теперь, когда муж Ваш узнает, что Вы свободны и, главное, имеете небольшое состояние, он способен Вас преследовать сожительство, – написала Елизавета Васильевна. – Если Вы не хотите возвратиться к нему, покажите твердость воли и характера. Бояться Вам нечего. Пока я жива, Вас никто не обидит, и мы всегда можем обуздать этого беспутного и сумасшедшего человека».

Как в воду глядела! В ответ на желание супруги получить отдельный паспорт после смерти отца В. В. заявил в местные органы власти следующее: «Ныне, когда он помер, мне было бы тяжело видеть свою жену опять бесприютно скитающуюся из места в место, и я хотел бы, чтобы она вернулась ко мне. Дать согласие на право отдельного от меня жительства я ей не могу, потому что, зная ее характер, ничем кроме гибели для нее от этого не предвижу. Сверх того, это равнялось бы расторжению нашего брака, а я еще питаю надежду, что она успокоится раньше или позже и мы вновь будем жить мирно и счастливо».

Вряд ли он писал последние строки искренне, особенно учитывая развивающиеся отношения с Варварой Дмитриевной (хотя если бы Аполлинария Прокофьевна вдруг вернулась к нему, что бы стал делать?), вряд ли дело было только в деньгах, скорее отказ был способом еще раз воздействовать на неуступчивую жену и добиться развода на его условиях. Но Суслиха была непоколебима, злопамятна и мужу его упрямства и вредности не простила, а суровость российских законов, как всегда, искупалась необязательностью их исполнения, так что насчет «вытребовать по этапу» – это графиня Салиас загнула.

«В то же время В. В. Розанов обратился к местному жандармскому начальству с вопросом, может ли он понудить отъехавшую от него жену вернуться к нему, – написал о себе в третьем лице В. В. в прошении на имя обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева. – Получил ответ, что фактически на это средств нет... Ничего не сделаете, и вытребовать не можете (жену по этапу); она всегда скажется больной. Будут отписки, волокита. А дела никакого не выйдет». Или, как сообщал он в мае 1891 года Страхову: «Жена взяла вид от губернатора и живет преспокойно в Нижнем, время от времени транжиря деньги за границей летом. Большого бесчеловечия, чем ее отношение ко мне, я никогда не видал».

Ситуация зашла в полный тупик, из которого, казалось, не было никакого выхода. Вернее, существовало три варианта развития событий, как видел их Розанов: желать Сусловой смерти и ждать, когда она, наконец, помрет, жить просто так или тайно обвенчаться. Первое было противно христианской природе Варвары Дмитриевны, да и не слишком реалистично (Аполлинария Прокофьевна дожила до 1918 года). Против второго решительно восставала благочестивая и благоразумная мать невесты Александра Андриановна Руднева, которой вообще вся эта история не нравилась и будущий потенциальный зять тоже. Особенно если принять во внимание фрагмент из более поздних устных воспоминаний Варвары Дмитриевны, записанных ее дочерью Надеждой (их цитирует в своей книге о Розанове В. Г. Сукач): «Когда В. В. стал бывать у нас в доме, мать написала о. Амвросию, прося разрешить Розанова сделать нахлебником, но о. Амвросий не благословил, сказал, чтобы свою подальше от этого человека держать, а замуж когда захотела... мать написала... и он не благословил».

Поскольку речь шла не о ком ином, как о знаменитом старце Амвросии Оптинском, чьей духовной дочерью была Александра Андриановна, то его фактически дважды неблагословение и настойчивый совет держаться от Розанова подальше говорили сами за себя (как и злое слово в контексте розановской судьбы слово «нахлебник»). Точно так же не одобрял кандидатуру уездного философа и родной брат Варвары Дмитриевны юрист Тихон Дмитриевич Руднев, о

чем позднее писала в воспоминаниях опять же Надежда Васильевна: «Тихон Дмитриевич был против брака мамы с отцом, “из себя выходил” и требовал, чтобы папа бросил ухаживать за сестрой, раз он жениться все равно не может».

Так что, строго говоря, учитель Елецкой мужской гимназии отнюдь не был желанным гостем в патриархальном домике возле церкви над чистой рекой, о котором с таким умилением позднее писал и называл своей «нравственной родиной». На него в этом доме и на этой родине смотрели косо и не знали, как отвадить. Однако молодые люди через все запреты уже переступили, сделавшись к тому времени любовниками при обстоятельствах весьма драматических (см. следующую главу). Тогда-то и был избран третий путь, о чем Розанов с некоторыми недомолвками написал Страхову: «Женщина, о которой я Вам писал, что люблю ее, никогда не желала ни ее смерти (Суловой. – А. В.) и ничего дурного. У нее есть мать, с которой она живет, не разлучаясь, 28 лет, и большой круг родных в Ельце. Всем нам было очень трудно. “Эдакого страдания я никогда не переживала, как теперь, глядя на Вас”, – говорила мне часто ее мать; семья очень религиозная, и о каком-нибудь сближении вне брака не могло быть и речи. Только раз мать сказала мне: “Если уж Вы не можете больше переносить разлуки, уезжайте отсюда, но я больше никогда ее не увижу, и пусть она не приходит и на могилу мою”. Так мы жили. Нынешний год, всего недели 4 назад, один священник предлагает меру. 7 мая (буду звать невеста) призналась на исповеди своему духовному отцу: “Что ей избирать – желать ли смерти (в душе) жене моей, чего она никогда не желала; начать жить со мной и обманывать мать или согласиться на меру, предложенную священником?” Духовный отец этот – старик лет 70, очень уважаемый в Ельце, у которого исповедуются все священники города, сказал ей: “Изберите последнее – это меньший из 3-х грехов” (он знает всю ее семью более 40 лет и мою невесту нянчил ребенком). Она передала матери. Та дня 4 думала и даже слегла в постель. Сказали и всему кругу родных, и все признали, что это – единственный исход; но после него нужно *тотчас уехать из Ельца* (и это сказал на исповеди моей невесте священник). Вы не можете представить, до чего мы все воскресли; наскоро стали все готовиться; мать ее шила мне белье: “До чего светло у меня на душе, до чего радостно – я и не запомню, когда так было”, – говорила мне старуха-мать. Из разговоров с ней я увидел, что в 1-й же год нашей жизни мать ее переедет к нам жить, и успокоил невесту, которая все сокрушалась, что должна оставить мать. Все мы были без конца счастливы, жили такими надеждами, в таком уповании на Бога, что и сказать нельзя».

Что же касается «меры», предложенной священником, от которой все в доме воскресли и принялись срочно шить белье, то Страхову о ней Розанов писать не стал, что Николая Николаевича несколько огорчило («Но почему Вы не написали мне, что такое неожиданно случилось? Ведь Вы меня уже много посвятили в свои тайны»), однако позднее В. В. описал суть событий в письме митрополиту Антонию.

«Пока один, молодой, резкий, грубоватый священник в присутствии нынешней моей жены не завел со старым протоиереем следующий разговор: “Я могу повенчать В. Д. с В. В. (со мной)”. – “Что ты, с ума сошел – с женатым человеком”. – “Нет, отец протоиерей, скажите мне, что требуется венчающему священнику?” Тот перечисляет. “Нет, я вас спрашиваю о канонах, а не о правилах: ничего я не должен знать, кроме согласия жениха и невесты”. – “По канонам – конечно, но...” Но тот ему закрыл речь: “Я так же каноны хорошо знаю, как вы, и вы меня не оспорите, что как иерей – я решительно ничего не должен знать, кроме сводного согласия венчающихся”. – “Конечно”. Как сказал старик “конечно” (а он был чрезвычайно уважаемый, глубоко осторожный священник, до известной степени глубокий политик), – невеста моя возлюбленная выбежала, прибежала ко мне и рассказала как бы о пожаре Москвы. До того это и мне и ей было удивительно... А священник этот, решительный и смелый, пришел ко мне и сказал то же, конечно, – венчание без записей, без свидетелей, чисто тайное и только для совести...»

5 июня 1891 года в церкви Калабинского детского приюта на Орловской улице в Ельце состоялось это воистину и в церковном, и в светском смысле слова *таинство*, которое Розанов воспел в «Опавших листьях», и всякий желающий может освежить в памяти эти ликующие страницы: «И венцы, Иван Павлович? – Конечно!» А новобрачный по уговору со священником, взявшим за незаконное совершение обряда тысячу рублей, то есть больше половины годового оклада жениха («Да будет благословенно его имя и не вменена ему будет в грех его правая решимость “поднять со дна ямы впавшую туда овцу в субботний день”», – писал позднее В. В. в своем завещании), перевелся служить в город Белый Смоленской губернии, где работал директором гимназии его брат Николай Васильевич.

Документ

Однако была у этой в общем-то очень трогательной (если не считать прозорливых возражений старца Амвросия и не менее проницательных предупреждений доктора Россолимо) пасторали более сложная, более розановская и менее известная подоплека. Были свои деликатные подробности, о которых В. В. сообщил много лет спустя в письме о. Павлу Флоренскому – самому близкому своему адресату. Ему он доверял то, что не доверял другим, что не включал в «Опавшие листья», о чем не писал Антонию, и обширный фрагмент из следующего ниже письма по-новому высвечивает любовную историю, случившуюся в Ельце в конце позапрошлого века, и передает иное ее измерение. Читатель смиренно- и целомудренный пусть лучше эти страницы пропустит, а в ответ на возможные упреки, зачем-де такое печатать, замечу, что, во-первых, если мы хотим Розанова по-настоящему понять, то надо быть готовым к откровенностям любого рода, а во-вторых, В. В. сам попросил Павла Флоренского сохранить и после своей смерти напечатать данное письмо как «документ».

«Не из “Песни песней” началась и наша любовь. Да все “русские любви” вообще не “фригийские”, не из “очес” и “щек”: все из грусти, “неудачи”, “несчастья” и скорби: и когда люди начинают “прижиматься друг к другу”, чтобы “хоть вдвоем спастись”. “Как-нибудь”...

“Национальная” любовь...

Она “отдалась мне” (до брака), когда узнала, что я “импотентен” (моя иллюзия, моя мечта, мой “страх”): тогда-то, чтобы “поддержать гаснущие силы” (мужчины) и, во-вторых, меня “утешить”, “ободрить”, она и сказала: “Вот – я твоя, и, кроме тебя, я никого и не буду любить. Мы – муж и жена”.

Дело в том, что я б. некрасив и урод и около 40 л., когда мы “встретились” и “все ходя около Введенской церкви” она рассказала – поэтичнейшую и страдальческую – свою жизнь с I мужем (чистая любовь, препятствия, лишения должности им – при бедности – медленная слепота и смерть 29 л., ей – овдовела в 21 г.).

И все ходила – далеко – на могилу. Зимой. “Кой в чем”. И мать ее – все плакала, видя слепнущего мужа дочери.

И все терпели.

Они всегда и все терпели. И все молились. “Без надежды на Бога я бы не жила” (ее мать).

“Как без Божией помощи? Схожу в церковь – и опять на неделю сил” (ее мать). И бежит до звона.

А дочь-вдова 26 лет, – вся невинная и белая, с чистым звонким голосом, изящная и оживленная и как-то “вдалеке от всех” (подруг)... с нею дочка 6 лет, беленькая и востренькая (Шура).

Она мне рассказывала жизнь, а я ей не рассказывал: она – знала, как и все в городе. “Не симпатичный, угрюмый учитель (гимназии), написавший огромную книгу (‘О понимании’), немного сумасшедший, ходит летом в калошах и в меховой шапке в мае, п. ч. забыл или не знает, что тогда уже покупают шляпы”.

“Брошен женой. Спит под енотовой шубой. По воскресеньям играет в карты у Клушина. Смеются над ним. И ученики не любят. Урод и, должно быть, ничтожество”.

Ну дальше, больше... Слушаю ее: вот бы “подруга моих дней”. – “Как она чиста! Как вся хороша! Как вся *благородна*...”

Дал бы обещание, по смерти 1-й жены (очень старая, брак-фантазия и тоже “по страданию”) жениться; да ведь я и *импотентен*...”

Импот. образовалась от “перегорелости” чувственности под “енотовой шубой”, как я думаю, все “перегорает” у решающихся на “пустынный подвиг”. Думаю и чувствую: “Встанет?”

– “Нет, не ‘стоит’”. Ах, я боюсь, что он вообще не “стоит”. Ах, я боюсь, что он вообще “не встанет”... И он “не встает”... Дни, недели... Никогда не “встает”... Шевелю – не “шевелится”.

Страх в душу. И он “окончательно не встает”.

Подкрадываюсь к ней (в смертном смущении и *тоске*): “О, Варя: как бы я хотел быть только твоим мужем, и ничьим еще... Всю бы жизнь... Всю бы душу...”

– Ну, ну! Ну, да...

– Но ведь я...

– Что?

Молчание...

– Варя, от болезни или от чего, от “невольной неженатости”, – но я если и “мужчина”, “может быть” – то “лишь с краешка”; на год – два – три... Ибо все уже “кончается” и теперь я “вообще не мужчина”: не знаю, не понимаю. Но когда мы переждем 1-ю жену: *наверное* в то время уже не буду женщиной.

В такой тоске, как умираю.

“Вася, мне надо подумать. Ты пока не ходи к нам, а я буду одна и буду обдумывать” (у нее “идет мысль”, а не “взвешивает все”).

Видимся опять.

– Ну, вот. Это, конечно, тяжело... Не будет супружества, а ничего. Но вы меня любите, я вижу. Вы только будете обо мне думать. И я обещаю быть вашей женою и ни о ком не думать. Эти дни я выверяла, смогу ли я быть вам верною, любить вас до конца при этих условиях – и решила, что могу.

А я все, от страха, трогаю “импотентность”... “Будет ли на два года?” – “Может уже теперь все кончено?”... Но если без *женщины* не “встает”: может “встанет” с женщиною... Когда целую? когда обнимаю? Когда трогаю “перси”... и я, почти держа руку “в кармане” (“отвердевает” ли?) стал физически ближе и ближе к Варе. По глупости я не знал, что “страх и забота, неуверенность в потентности – производит импотентность”. Но это я теперь знаю...

Да и слова мои: “Угасло все *должно быть от невольной безжизненности*” – толкнули и зарои́ли рои мысли в ней.

“Я должна его спасти”.

Пошла “русская любовь”... Когда я ее 1-й раз взял за “перси”, она мне написала записку, 15 строк: “Как ее мать учила быть чистой” – я б. до того поражен этими невинными словами, что, залив в воск и зашив в тряпочку – до сих пор, с крестиками (все “памятки”) ношу на шее. И вообще для меня Варя – “религия”... Все “лучшее и чистое”, что нашел в жизни, встретил на земле, кто мне б. послан Богом, чтобы “научить и вразумить”...

Так и “произошло” все... 1½ месяца б. “импотентен”, ½ импотентен, “чуть-чуть”, “накопец – да”.

Забеременела.

Ужасы. Мать ее мне давно сказала: “Мне – на всякий случай говорю вам, это дело минут – легче живой лечь в землю, чем увидеть свою дочь павшей”.

“Известно – провинция”.

Ужас... Произошел выкидыш. На “ходу” и все течение его провела “на ногах”.

Деверь (брат мужа) ее и говорит:

– Да я Вас с В. В. обвенчаю...

При отце своем, старом “консистерского типа” и “величавом” протоиерее!..

– Как же, когда он женат? (он).

– Да вы, папаша, помните канонический закон: священнику нужно знать одно, по свободному ли желанию вступают в брак венчающиеся? А все остальное государственные прибавки и требования, до которых священнику нет дела.

– Так-то так...

– Ну, и очень просто. В. В. уплатит мне 1000 руб., и я обвенчаю в моей Калабинской церкви (приют, летом – “все пусто и заперто”). А венцы возьму из вашей церкви и заранее, под рясой, пронесу туда.

Огромный. Саженный. Любовник красивых прихожанок. Хохочут. Весельчак, “душа парень”, жил – “при благосклонном сочувствии мужа” – с женой купца, и (как потом открылось) на глазах жены, испуганной и молчаливой, и купца-мужа – устраивал с нею (женой купца) оргии.

Любим “всем городом”. Умен и так остроумен. “А уж смелости...”...

Варя прибегает к матери: “Вот что Иван Павлович сказал”.

Мать на неделю слегла. Смущение, недоумение. Нерешительность.

Пошла к от. Ивану (“высокий седой священник” – мною описанный в конце “Легенды об Инквизиторе” Достоевского) и все “сказала на духу” и спросила совета... А Ив. Павл. ему – дальний родственник. Задумался. Молчал.

– Все бы ничего... Да зачем эта 1000 р. тут примешалась.

Она:

– Такое большое дело. И страх. И это – просто как укрепление в силах.

Дал благословение.

А уже вечером Ив. Пав. ко мне приходит. Спокойный. Твердый. Хоть бы крупинка страха в глазах:

– Я вас повенчаю. Записей не будет. Только сверх 1000 условие: немедленно переводитесь в другой город (служба) и уезжайте. Уедите – и забудут. Без этого – толки. Что, как? И может раскрыться.

– В “непостный день” (соблюл это) гуляйте в городском саду. Я к вам выйду. И пойду с вами как бы показать мою церковь. Запремся. И я обвенчаю.

Мать (ее) ему:

– Только Вы, И. П., *не молебн* им справьте, а чтобы полное венчание.

Смеется.

Гуляем. Яркий майский день, 12 ч. Смотрит из окна. Улыбается. Выходит. Ведет. Спросил у сторожа ключи. Мы ни живы, ни мертвы. Я в сюртуке (при “параде”), она в белом платье. Вся невинная и торжественная. Глубоко серьезная. Несет сторож ключи. Отворяются двери. И он – так медленно и гремя запирает их. Я с ним (“из вежливости”): оборачиваемся – стоит моя Варя на коленях перед иконой (в “сенцах” церкви) и так горячо, со слезами (у нее не глаза, а *все лицо* плачет)... На движения наши встала, вся великая и покойная...

Зажег он все свечи. Все ничуть не торопясь. “Теплота” приготовлена. До сих пор не помню, кто “держал венцы”... Все вообще как сон и замороженность.

“Ну теперь выпейте теплоты”...

Сам читал, произносил и пел, за “попа, дьякона и дьячка”.

И сказал, кончив с амвона:

– Вы знаете, что жена ваша ничего от вас не имеет. Вся крепость ее – только в вашей душе. Сберегите ее...

Немного больше, сложнее. Хорошо сказал – и было это “настоящее”. Варю он как и “протоиерей” – отец и все “их родства круг” – любили и уважали и “желали всего доброго”. Вообще она удивительна по пробуждению *всех* доброты к себе: как сама и “плачет о мире”.

И вышли. И запер церковь. На всю жизнь я ему благодарен, и никогда не судил “ни за что” и вот только невестка его – года 3 назад – рассказала об “оргиях”.

А так – “весел и любил”.

Скушал редиску после тифа и умер, года через 3 после венчания. *Отнюдь* не думаю, что “наказание Божие”: и вообще что наш брак “должен быть” – это для меня, “нерушимая стена” веры.

Брак этот мне все открыл. Всему научился. Варя стала для меня “книгой закона”».

Было ли все именно так на самом деле и можно ли верить Розанову даже в письмах, если сегодня он говорит одно, а завтра другое? Однако в данном случае важно то, что В. В. написал это свехоткровенное даже для него письмо («Документ»!) в один из самых ужасных, беспросветных периодов своей жизни, эту жизнь переломивших – в сентябре 1910 года, вскоре после того как Варвару Дмитриевну разбил паралич. Внутреннее состояние его в те дни было кошмарное, истерзанное, что, впрочем, не помешало ему при всей своей пронзительности и боли оставаться по-розановски болтливым и чутким к интимным подробностям, и все равно эта история в духе платоновской «Реки Потудани» в каком-то смысле не просто не порочит, а, напротив, преобразует и возвышает главную участницу провинциальной семейной драмы конца позапрошлого века – Варвару Дмитриевну Бутягину, урожденную Рудневу, и ее окружение.

Религиозная женщина, которая «пала» для того, чтобы спасти своего возлюбленного от ужаса «импотенции», ее благочестивейшая, якобы ничего не ведающая, а на самом деле наверняка обо всем догадывающаяся и беспокоящаяся не токмо о духовном спасении, но и о житейском будущем дочери и внучки (пусть хоть такая будет у них защита!), изболевшаяся сердцем, вынужденная пойти против Амвросия мать, благоразумный левит, который не стал запрещать тайное венчание, выбрав из всех зол наименьшее, и другой, возможно, менее достойный священник, который, в сущности, попросту нажился на чужой беде («Когда принимал от В. В. деньги, руки у него ходенем ходили», – сокрушенно рассказывала Варвара Дмитриевна много лет спустя С. Н. Дурылину), но все равно оставил в душе Розанова благодарный след по контрасту с бессердечными церковными законами²⁰. Однако дело не только в этом, но еще и в том, что немыслимое, возмутительное соединение религии и пола, которое нашему герою часто ставили и продолжают ставить в укор, нашло в этом сюжете самое непосредственное, живое воплощение, особенно если иметь в виду, что слово «воплощение» и происходит от слова «плоть».

²⁰ Но вряд ли в душе Варвары Дмитриевны. Ср. в воспоминаниях Н. В. Розановой: «Мама же говорила: “Терпеть не могу генералов и попов”... Мама не перенесла в наш дом традиции ее родни. Она редко говорила о ней, может быть, в силу замкнутости, а может быть, из каких-нибудь тягостных воспоминаний, так как незаконный и со стороны церкви преступный брак ее с отцом, вероятно, был осужден ее родней».

Вытащить из Белого

Если Брянск и Елец города известные, то затерянный в Смоленской губернии (а ныне находящийся на западе Тверской области) Белый не всякий на карте укажет. Даже учитель географии, ставший к тому моменту коллежским советником. «Вы не можете себе представить, что такое г. Белый, – описывал свое новое местожительство Розанов. – Это две пересекающиеся друг друга улицы, обе уходящие в поле. Куда бы Вы ни пошли, поле не исчезает из виду, т. е. оно видно через полуразрушенные заборы сбоку. Весной концы улиц затопляются; постоянные ветры, почему-то сквозные, и мы с женой уже оставили попытки гулять, ибо не было почти ни одного раза, чтобы на другой день не были простужены, с головной болью. В течение вот уже месяца грязь стоит такая, что в церковь, за несколько шагов, приходится ездить, а идя – буквально утопаешь, несмотря на глубокие резиновые калоши. Кругом лес; сам город стоит в яме между небольшими возвышенностями. Жителей 6000. 3 церкви, из коих одна при Духовном училище. И в этой деревне – громадная, 2-х этажная прогимназия».

В Белом он ощущал себя по-розановски. С одной стороны, жил с любимой женщиной и еще больше, чем раньше, писал, публиковался, делая себе имя, с другой – был вынужден заниматься тем, что за десять лет надоело ему до дрожи, и сил на эту работу больше не оставалось. «Лично я живу очень счастливо; очень любим и люблю; пишу и не чувствую усталости; уроками, правда, скучаю – но нужно же было мне при довольно отвлеченном складе души, при глазах, вечно закрытых на конкретное, – выбрать такие предметы, как историю и географию, где и нет ничего, кроме конкретного. Это несчастье в избрании профессии; к счастью – она не одна у меня», – докладывал он Страхову.

Чрезвычайно яркое воспоминание о Розанове-учителе Бельской гимназии и его конкретной географии оставил один из его учеников, некто Владимир Оболянинов, который впоследствии эмигрировал в Америку и уже в 60-е годы XX века прислал письмо в редакцию американского русскоязычного «Нового журнала»:

«В девяностых годах прошлого века я жил в городе Белом быв[шей] Смоленской губернии, и в 1891 и 92 гг. состоял учеником первого класса местной шестиклассной прогимназии. Преподавателем географии у нас был Василий Васильевич Розанов... Среднего роста, рыжий, с всегда красным, как из бани лицом, с припухшим носом картошкой, близорукими глазами, с воспаленными веками за стеклами очков, козлиной бородкой и чувственными красными и всегда влажными губами он отнюдь своей внешностью не располагал к себе. Мы же, его ученики, ненавидели его лютой ненавистью, и все, как один... свою ненависть к преподавателю мы переносили и на преподаваемый им предмет. Как он преподавал? Обычно он заставлял читать новый урок кого-либо из учеников по учебнику Янчина “от сих до сих” без каких-либо дополнений, разъяснений, а при спросе гонял по всему пройденному курсу, выискивая, чего не знает ученик. Спрашивал он по немой карте, стараясь сбить ученика. Например, он спрашивал: “Покажи, где Вандименова земля?”, а затем, немного погодя – “А где Тасмания? Что такое Гавайи? А теперь покажи Сандвичевы острова”. Одним словом, ловил учеников на предметах, носящих двойные названия, из которых одно обычно упоминалось лишь в примечании. А когда он свирепел, что уж раз за часовой урок обязательно было, он требовал точно указать границу между Азией и Европой, между прочим, сам ни разу этой границы нам не показав. Конечно, ученик... начинал путать, и мы уже заранее знали, что раз дело дошло до границы между Азией и Европой, то единица товарищу обеспечена. Но вся беда еще не в этом. Когда ученик отвечал, стоя перед партой, Вас. Вас. подходил к нему вплотную, обнимал за шею и брал за мочку его ухо и пока тот отвечал, все время крутил ее, а когда ученик ошибался, то больно дергал. Если ученик отвечал с места, то он садился на его место на парте, а отвечающего ставил у себя между ногами и все время сжимал ими ученика и больно щипал, если тот

ошибался. Если ученик читал выбранный им урок, сидя на своем месте, Вас. Вас. подходил к нему сзади и пером больно колотил его в шею, когда он ошибался. Если ученик протестовал и хныкал, то Вас. Вас. колотил его еще больнее. От этих уколов у некоторых учеников на всю жизнь сохранилась чернильная татуировка. Иногда во время чтения нового урока... Вас. Вас. отходил к кафедре, глубоко засовывал обе руки в карман брюк, а затем начинал производить [ими] какие-то манипуляции. Кто-нибудь из учеников замечал это и фыркал, и тут-то начиналось, как мы называли, избивание младенцев. Вас. Вас. свирепел, хватал первого попавшего... и тащил к карте. – “Где граница Азии и Европы? Не так! Давай дневник!” И в дневнике – жирная единица. – “Укажи ты! Не так!”²¹ – И вторая единица, и тут уж нашими “колами” можно было городить целый забор. Любимыми его учениками, то есть, теми, на которых он больше всего обращал внимание и мучил их, были чистенькие мальчики. На двух неряшливых бедняков из простых и на одного бывшего среди нас еврея он не обращал внимания... Мы, малыши, конечно совершенно не понимали, что творится с Вас. Вас. на наших уроках, но боялись его и ненавидели. Но позже, много лет спустя, я невольно ставил себе вопрос, как можно было допускать в школу такого человека с явно садистическими наклонностями?... О том, что он был женат на любовнице Достоевского Аполлинарии Сусловой, бывшей старше Розанова на 16 лет, я узнал позже, в девяностых годах она уже его оставила и в г. Белом ее не было».

Никаких оснований доверять одиночному мемуару вроде бы нет. Однако если сопоставить его с тем, как вспоминал Розанов в своем дневнике и изобразил в «Кашеевой цепи» Михаил Пришвин (получивший неудовлетворительную оценку за то, что не знал, где находится остров Цейлон), если вспомнить слова самого учителя географии про «идти в класс, чтобы мучить и мучиться», то картина складывается довольно убедительная. И даже та подробность, что Розанов любил дергать нерадивых учеников за ухо, странным образом соотносится с его собственными строками из письма Страхову, когда он вспоминал свою учебу в Нижегородской гимназии: «Я уже сидел на новых партах, с подвижными спинками, с аккуратными преподавателями, которые боялись не только нас за ухо взять, но и сказать “ты”».

Из всего этого следует, что сам Василий Васильевич как учитель не боялся ничего, будучи представителем, так сказать, старой, неаккуратной школы с неподвижной спинкой, не возбращающей учителям тыкать и таскать учеников за ухо, и в конечном итоге в городе Белом, где «волки разорвали свинью между собором и клубом», географ наш педагогически выгорел и свой глобус пропил. Результатом его педагогической деятельности стала статья «Сумерки просвещения», которую Розанов впоследствии назовет «великим отмщением за гимназистов» и в которой с позиций «консервативного романтизма», как определил розановский метод известный либеральный публицист П. Б. Струве, разбомбил систему среднего образования в Российской империи.

«За “Сумерки просвещения” меня могли как угодно *наказать* в министерстве, и если ничего не сделали, то лишь потому, что мое “теперешнее положение” – учительство около свиней и волков – представляло собою то естественное наказание, больше которого не было в руках округа. Хуже было (и *возможно* для округа) вовсе “исключить из службы”: но тогда естественно и понятно для округа я перешел бы всецело к литературной деятельности, и в округе отлично знали, что “тягостнее будет посидеть в Белом”».

Впрочем, стоит заметить, что мнение начальства разделилось. «К. П. Победоносцев прочел Ваши “Сумерки просвещения» и отдает полную справедливость верности и глубине мыслей, выраженных в этой статье, – писал Розанову его новый знакомый Сергей Александрович Рачинский. – Но он справедливо осуждает причудливость и темноту Вашего слога... Нужно, нужно вытащить Вас из Белого! Эти недостатки слога, очевидно, плод Вашего полного одино-

²¹ И в то же время сам писал в «Мимолетном» о своих гимназических годах: «Но хуже всего была география проклятая...»

чества. Мысли, не находящие никогда случая выразиться устно, не созревают до письменной формы, всем доступной...»

Русская партия

Нет сомнения, что Розанов весьма сочувственно читал эти строки, но все же к полному переходу на творческую работу был не готов. Журналистская деятельность не приносила достаточного дохода, и если бы его уволили со службы с «волчьим билетом», трудно сказать, как бы он стал выживать. Тем более что в эти же годы произошло еще одно очень важное событие в жизни бельского педагога, о чем он доложил своему литературному опекуну: «Из своих новостей скажу серьезную и смешную: первая – у нас дочь Надя, кой $\frac{1}{2}$ года и коя оживляет и радует всю нашу семью. Никогда не мог понять, как можно мысли о людях или мечты о них предпочитать настоящим людям? иначе как можно ценить, уважать и любить искусство и публицистику <больше>, чем свою семью. Мне кажется это преступлением. Еще недавно, нося Надю, закинув через плечо, я думал: до какой же отдаленности от жизни нужно было дойти гг. литераторам, чтобы *измену идее* считать преступлением, а измену семье, *о ней беззаботность* – считать обыкновенным. А по-моему, можно изменять всяким идеям, но не изменяй живым людям. Вот я без должности, грозит голод жене и малютке дочери, которые, знаю, любят меня иначе, чем франко-германо-английские публицисты. У меня – “легкое перо”; мне предлагают участие в журнале, кой я презираю, идеи его считаю вздором. Чему изменить: своей прежней деятельности или семье: о, без всякого сомнения – печатному хламу. Ведь очень честный муж должен же пойти с шарманкой, положим, без всякого сознания ее пользы и служения через нее чему-нибудь; и если в литературе он ее вертел налево – отчего ему вдруг не начать вертеть направо, с мыслью, что вся эта дребедень через 10 лет забудется; а голод малютки и жены – да каких! это никак не забудется. – Кто знал нужду и любит конкретного человека – иначе рассуждать не может. Это я когда-нибудь разовью печатно: подлецы, сколько издевались над мольбой “жена – дети; не гоните со службы”. А ведь это самый человеческий крик; ведь разным Акакиям Акакиевичам только это из человеческого и оставалось, вернее – оставлено было; и вот надо же вырвать это последнее: пускай гусиное перо только скребет, и больше ничего – это нужно нам, а его там отеческие потроха – это нам не нужно. Нужно быть очень тупым, чтобы не питать некоторой доли сильнейшего неуважения к литературе. Нет, это слишком резиновые мозги. Хорошо делал Дост., что почти всегда описывал литераторов жуликами и проходимцами; они таковы и есть – в значительной степени».

В эти строках, адресованных опять же сурьезному, до мозга костей преданному литературе Страхову, весь будущий Розанов, которого станут упрекать за беспринципность, безыдейность, аморализм, продажность, сотрудничество с изданиями разных политических направлений. Здесь все его еще не написанные «опавшие листья» с их подчеркнутым презрением к литературе и литераторам и декларацией первенства частной жизни перед общественной, и, похоже, это произвело впечатление даже на получателя письма. Николай Николаевич пожурил в ответ своего подопечного очень ласково и даже как-то растерянно, не зная, что возразить.

Впрочем, из Белого все равно нужно было под любым предлогом бежать, но тут Розанов получил письмо от «лучшего литературного критика 90-х годов», как он сам позднее его аттестовал, Юрия Николаевича Говорухи-Отрока. «Что касается до Вашего желания променять учительство на журналистику, то заклинаю Вас всеми святыми, не предпринимайте в этом направлении никакого решительного шага, не повидавшись со мной и не посоветовавшись с Н. Н. Страховым. Вы можете совершенно и на всю жизнь погубить себя. Нужна чрезмерная нравственная и умственная выносливость, кошачья живучесть, чтобы, сделавшись журналистом, не обратиться в журнального *смерда*, не погубить окончательно своего дарования. И вот что я Вам скажу: я зарабатываю журналистикой от 5 до 6 тысяч в год, но если бы мне предложили место учителя в уездном городе на 2 тысячи жалованья, – я сейчас же и охотно бросил

бы журналистику. Я не перестал бы писать, конечно, но бросил бы, чтобы избавиться от обязательного писания. А Вы, сколько я могу судить, человек далеко невыносимый и поэтому для Вас журналистика была бы чистою гибелью».

Розанов, однако, этим увещаниям не внял. «Непременно нынешний же год брошу Белый: помилуйте – в здешней аптеке хина не горька и капли Иноземцева – производят расстройство желудка. Это важнее, чем отказ “Моск. Вед.” печатать мои фельетоны», – писал он Страхову, и вот, кстати, еще один подступ к знаменитой вольной розановской эссеистике.

Но все же работу в гимназии он бросил не наобум. Василию Васильевичу помогла в его дальнейшем трудоустройстве «русская партия». То есть, конечно, она так не называлась и не была вообще никоим образом ни оформлена, ни зарегистрирована, да и сам Розанов позднее против этого названия выступал, ссылаясь на «Дневник писателя» Достоевского²². И тем не менее были в Российской империи влиятельные консервативные круги, наследники славянофилов, поздние славянофилы, ревнители традиционных ценностей, которые вошли в силу в царствование Александра Третьего и принимали нашего учителя за своего. А неформальным местным представителем и предводителем этой партии в Смоленской губернии был Сергей Александрович Рачинский, который и сообщил Розанову об интересе Победоносцева к его статье, а самому Константину Петровичу написал: «Еще забота – у меня завелось новое дите. Это В. В. Розанов, статьи коего в “Русском вестнике” Вам, конечно, известны, и толстую книгу коего (“О понимании”) вы, конечно, не читали. Человек он прекрасный, искренне благочестивый и церковный, и притом писатель положительно талантливый. Учителемствует он в Бельской прогимназии и учительством тяготеет».

Ставший фактически вторым – ну или, если считать Сушлову, – третьим розановским опекуном (тут стоит заметить, что роль Страхова как наставника в жизни Розанова стала постепенно угасать, да и сам Николай Николаевич не мог либо не хотел своему ученику помогать в делах житейских или же – чего нельзя исключить – обиделся на то, что Розанов не воспользовался его помощью при переводе из Ельца), Рачинский был личностью воистину замечательной. Есть огромная несправедливость в том, что имя этого человека, профессора Московского университета, вышедшего в отставку и уехавшего в середине семидесятых годов XIX века в Смоленскую губернию заниматься народным образованием, сумевшего создать там несколько образцовых сельских школ, переводчика Дарвина, корреспондента и оппонента Льва Толстого, просветителя и благотворителя (он потратил в 1889–1897 годах на строительство школ в Бельском уезде 100 тысяч рублей собственных средств, и было это в 13 раз больше, чем израсходовало на них земство, и в 32 раза больше – чем Министерство народного просвещения), мало кому сегодня известно, а если и упоминается, то чаще всего в связи с личностью его протеже. Именно он с его обширнейшими столичными знакомствами, известный благодаря своему подвижничеству даже в царском дворце и отмеченный монаршими наградами, стал проводником В. В. в «высший свет», а точнее – в чиновничий Петербург. И это, конечно, факт поразительный, как в смоленской глуши, среди непроходимых лесов и болот, наш герой встре-

²² Так, в статье «Два съезда», опубликованной в 1907 году, он писал: «Глубокое вырождение и упадок русских чувств констатировал уже четверть века тому назад Достоевский в “Дневнике писателя”. В ту пору, в разгар русско-турецкой войны, в противовес почти поголовному и уже старому, даже очень старому увлечению нашего общества исключительно европейскими воззрениями, теориями и вкусами, образовалась какая-то “русская партия”, кажется ничем ярко себя не выразившая. Кое-где были “коллективные постановления” бойкотировать английские товары и английские магазины в Петербурге и Москве, да несколько русских женщин нерешительно надели сарафаны и кокошники. И вот, когда это нерешительное движение вылилось в формирование русской партии, то Достоевский с глубокою тоскою и недоумением написал в “Дневнике” своем: “Боже! У нас есть *русская партия!*” Он недоумевал: каким образом в стране, именуемой Россией и населенной русским народом, может возникнуть как что-то новое, обособленное и очевидно протестующее русская партия? Ибо ведь это знаменует собою, что вся Россия – уже не русская; т. е. что вся Россия шарахнулась куда-то в сторону от России же, т. е. от *самой себя!* Что же это такое?! И Достоевский развел руками при виде этого буквально кошмара: представим себе Древнюю Грецию и в ней “греческую партию” или современную Англию и в ней “английскую партию”. Представим себе Францию с “французскою партией”. Невозможно представить! Не было никогда и, очевидно, не будет! Но в России это случилось».

тил столь влиятельного человека и нащупал дорожку, по которой ему было суждено прийти к литературной победе.

Перед учителем двухэтажной прогимназии лежало два пути наверх – прямой и нет. Первый – связанный с Победоносцевым и возможной службой в Синоде. «Характер Розанова представляется симпатичным, и мне хотелось бы пристроить его к себе», – писал обер-прокурор С. А. Рачинскому, но что-то не сложилось, в том числе из-за расхождений стилистических. «Какая жалость: слог невозможный», – отозвался о будущем лучшем стилисте Серебряного века Победоносцев. И тогда Розанову пришлось пойти вторым путем. Его покровителем в Петербурге сделался другой, чуть менее крупный столичный чиновник, но тоже церковник и даже православный богослов, один из инициаторов создания Императорского Палестинского и Географического обществ, почетный член Петербургской академии наук, поклонник хорошего пения, игры в городки и страстный собиратель фольклора, а также молодых российских талантов.

«Вашею литературною деятельностью сильно заинтересован Третий Иванович Филиппов, – сообщал Розанову Рачинский. – Он хотел бы перетащить вас в Петербург, дать вам более или менее фиктивную, но хорошо оплаченную должность в своем ведомстве, и притом сделать из вас своего литературного сотрудника по вопросам церковно-государственным. Мне поручено на счет этого плана зондировать почву, т. е. вас... Скажу вам прямо, что этого благополучия я для вас не желаю. Третий Иванович действует путями не всегда прямыми. Самолюбия он безмерного. Самостоятельной мысли в подчиненных он не терпит...»

При этом в оригинале (неотредактированном при публикации) фраза про пути звучала так: «Третий Иванович действует путями кривыми и темными, его тайный орган – “Гражданин”». Последнее было намеком на одну из самых консервативных русских газет, презираемую даже консерваторами, и на ее издателя – князя Мещерского, известного своими нетрадиционными сексуальными предпочтениями.

Однако Розанову выбирать не приходилось, ему не терпелось вырваться из педагогического плена, а к содомии он всегда относился снисходительно, и так, после одиннадцати лет рабства учительского началось шестилетнее рабство чиновничье. Но зато в Петербурге. И, конечно, не для того, чтобы сделать бюрократическую карьеру, а чтобы – как писал Розанов впоследствии: «я этих петербуржцев научу, научу, научу, переучу...».

Чужой среди своих

«В приемной кабинета Т. И. Ф-ва я ходил взад и вперед с час, – и как сейчас помню (“всегда мысль не о том, что к *сейчас относится*”) пытливо и страстно размышлял, отчего *тело погребенного фараона* клалось приблизительно на высоте $7 \left[\frac{1}{3} \right]$ – считая снизу – пирамиды (общей высоты ее), и так как камера с телом была собственно “вписана в треугольник”, – если представлять пирамиду в разрезе, – то из каких именно египетских идей все это могло вытечь? из каких тенденций мысли? из каких вкусов? Как вдруг высокая дверь отворилась, – и ко мне медленно и маленькими, усталыми шажками стал подходить человек невероятно большого объема. Подняв глаза, я уже знал, что это Филиппов. Вид его был благ, мягок, добр; и седые волосы по-русски были расчесаны на две стороны, – пробором по середине, по-крестьянски. Я все смотрел. Когда, подойдя ко мне и ничего не сказав, он нагнулся и, трижды поцеловав, сказал: “Еще отдания Пасхи не было” (т. е. “христосуются”). Я ничего не сказал. Он вздохнул. И что-то сказал. Что – я не помню. В “сию неизъяснимую минуту” и возникла та антипатия между нами, отчета в которой я никогда не мог себе отдать, но которая заключалась в “терпеть не могу” с обеих сторон. Жизнь – в шутках, улыбках, остроумии; жизнь во всяком случае – в движении; здесь же – в тихой приемной (никого не было) и особенно в тихо склонившейся ко мне фигуре я увидел или почувствовал такое отрицание *движения*, такое до *преисподней* *доходящее* запрещение шутить, говорить и двигаться, что почувствовал, что я умираю, и точно сделал движение – выскочил из могилы. “Выскочить из могилы”, должно быть, он и прочел на моем лице; и, очевидно, в душе его шевельнулось: “А, так вот *как...*” И с тех пор началось мое закапывание...»

Так писал В. В. позднее, когда его мучителя давно не было в живых, в «Опавших листьях». Розанову, как уже говорилось, трудно верить и еще труднее не верить, так одновременно он субъективен и убедителен. Однако, во-первых, ничего предосудительного Третий Иванович не сделал – хотел лишь похристосоваться с человеком, которого считал своим единомышленником, и не был виноват, что простодушно ошибся. А во-вторых, если взглянуть на Т. И. Филиппова другими глазами, если прочитать его переписку с Достоевским, Леонтьевым, Майковым, да даже с Победоносцевым (с которым они, правда, друг друга терпеть не могли), если вспомнить его роль в судьбе Аполлона Григорьева, которого он пригласил в редакцию «Москвитянина», помощь Мусоргскому, если вникнуть в суть его разногласий с Аксаковым и Катковым, в его позицию по болгарскому вопросу, отношение к старообрядчеству, то перед нами возникнет совсем другой образ. Даже Татьяна Васильевна Розанова признавала в мемуарах, что ее отец «часто был несправедлив к Третию Ивановичу, которого многие хвалили за его широкие литературные интересы и за его доброжелательное отношение к подчиненным».

Конечно, он не был идеальным государственным мужем. Этого человека сегодня опять же мало кто кроме специалистов по истории помнит, а Розанов его, можно сказать, навсегда изничтожил, сделав своего рода историческим изгнанником, но между тем именно Третий Иванович написал год спустя после кончины розановского кумира Константина Леонтьева: «Зато он не лишен был истинных и трогательных перед кончиною утешений в любви и глубоком уважении своих юных последователей, в восторженной оценке В. В. Розанова...»

Помимо этого о Филиппове в письмах к В. В. очень высоко отзывался и сам Константин Николаевич: «Вы не знаете, что значил для меня этот человек в течение 10 и более лет. Только у Филиппова я уже с начала 70-х годов видел и ясное понимание моих целей, и горячее, твердое, деятельное участие».

«Если Т. И. Филиппов читал Ваши статьи и очень хорошего о них мнения, то вот Вам покровитель, который может Вас совершенно устроить. Он великий любитель литературы и постоянно благотворит писателям», – сообщал своему подопечному Страхов.

Наконец и сам Розанов в марте 1893 года, накануне отъезда из Белого, отправил Тертию Ивановичу письмо, в котором выражал «искреннее и глубокое уважение» к мыслям своего будущего покровителя и фактически изливал ему душу: «...Не буду неискренен и скажу прямо, что той верности собственного душевного строя исторически-установившейся Церкви, какой желал бы я очень, очень глубоко – у меня еще нет, она не достигнута. Через воспитание, в течение долгих годов учения – мы отходим от Церкви; но когда в зрелом возрасте пытаемся возвратиться к ней – путь слишком длинен, чтобы его быстро пройти; однако дойти до желанной цели я не теряю надежды, ибо “стучащим отверзется”. Пока же, на этом длинном возвратном пути, сколько есть во мне сил и умения, стараюсь будить во всем нашем обществе, столь совершенно атеистическом, это течение к закрытой для него двери; сколько Бог даст мне выполнить – это будет видно в будущем.

С какою благодарностью читал я в письме Вашем одобрение моих трудов – не буду говорить, Вы это поймете без слов. А я-то трудился, ожидая и для себя со временем участи Константина Николаевича, с простою радостью выразить то, что занимало мой ум и тяготило сердце. Есть великая отрада в этом труде, незаменимая, ни с чем не сравнимая; но видеть, что и там, вдали, этот труд признается, что мысли, вот здесь зародившиеся, проходят через чью-то далекую мысль и тревожат чужое сердце, – это награда, которая могла быть заслужена лишь гораздо более продолжительным трудом, чем мой. Слова же Ваши “о времени, когда божественный дар слова ценился как святыня” – я приму как завет, и предостережение, и указание. Думаю, что если не несчастье какое-нибудь в жизни, сумею и смогу сохранить его.

С истинным и глубоким уважением
остаюсь В. Розанов»²³.

Ну и как было Тертию с таким почтительным и деликатным человеком не похристосоваться?

Письмо это любопытно еще и потому, что в нем Розанов презрительно отозвался о двух издателях, один из которых впоследствии станет его настоящим, безо всяких скидок спасителем и благодетелем, а второй – с ним у него, правда, никаких отношений не сложится – известен в истории русской литературы тем, что именно он основал в 1890 году серию «Жизнь замечательных людей». «...эта настойчивость и умелость как-то досталась в удел людям, во всех отношениях ничтожным, Суворину, Павленкову и пр., которые засыпают Россию своими изданиями».

Так что все вышесказанное про розановское «красное словцо» не только к Филиппову относится, но и ко многим, кого острый на язык, раздражительный В. В. навсегда сразил, срезал, припечатал в переписке ли, в «Опавших листьях», в критике, публицистике. Однако если Карамзину, Грибоедову, Гоголю, Салтыкову-Щедрину, Чехову, да даже и Герцену с Белинским, Добролюбовым, Писаревым и Чернышевским от розановских резких оценок и высказываний не убудет, как не убудет от них Владимиру Соловьеву или Гиппиус с Мережковским, то с деятелями «меньшего калибра» (с тем же Рачинским, например) ситуация более сложная. А что касается Тертия Ивановича, то он к своему подчиненному оказался чересчур строг как раз потому, что быстро прозрел: не того приютил, не тому помог. Не стал новый петербургский чиновник правоверным членом консервативной русской ложи, не сделался «объединяющим центром и надежным руководителем и вдохновителем нашей осиротевшей после смерти Леон-

²³ Подробнее об этом в статье О. Л. Фетисенко «Из предыстории переезда В. В. Розанова в Петербург: Письмо Розанова к Т. И. Филиппову».

твева молодой семьи», чего от него ожидали, а – сбежал, переметнулся на сторону противоположную, и на то у В. В. были свои личные причины...

Город пышный, город бедный

«Петербург меня только измучил и, может быть, развратил», – признавал позднее Розанов, но порядок действий при этом был именно таким: сначала измучил, потом все остальное.

Он поселился с женой на Петербургской стороне, на Павловской улице. По тогдашним меркам это была почти окраина города (Зинаида Гиппиус потом вспомнит «дощатые тротуары глухой Петербургской стороны»). Осенью 1893 года умерла от менингита Надя, о которой ее отец писал Страхову.

«Первая Надя была удивительна, – вспоминал В. В. много лет спустя в «Последних листьях». – По дням она была дремлива и сияла ночью. Но и днем: у нее были огромные или, вернее, огромно раскрываемые темные глаза, в высокой степени осмысленные, разумные. И она смотрела ими перед собой. Раз мама пришла и сказала: “Вообрази: какой-то генерал встретился и сказал: Извините, что это за ребенок: у него такие глаза”. А ночью я ее ставил на зеленый стол (письменный) перед лампой. И чуть цепляясь пальчиками ног за сукно (я ее держал в руках, ей было 7–8–9 месяцев), она вся сияла, горела нездешним разумом. И улыбалась нам с мамой. Или уходил (неся) в боковушку. С улицы горел фонарь, газ, я ставил ее на подоконник. И вот она четверть, половину часа не отрывая глаз смотрела на волнующееся пламя. Как мотылек. И как мотылек сгорела в каком-то внутреннем пламени».

Татьяна Васильевна Розанова цитирует в своих воспоминаниях нравоучительный автограф Розанова на фотокарточке, где сняты вдвоем тридцатисемилетний счастливый отец и восьмимесячная крошка на руках.

«Дорогой моей Наде, когда она будет большая, любящий отец 22 июля 1893 года.

С. Петербург, Петербургская сторона, Павловская улица, дом 2. Кв. 1 В. Розанов.
Заповеди же ей

1. Помни мать. 2. Поминай в молитвах отца мать. 3. Никого не обижай на словах и паче делом. 4. Поминай в молитвах бабушку Александру, которая приехала к твоим родам и выучила тебя аукать и подавать ручки. 5. Помни сестру Александру и тетку Павлу, которые любили с тобой возиться и играть и баловать тебя. 6. Береги свое здоровье. 7. Ума будь острого, учености посредственной, сердца доброго и простого. 8. Ничего нет хуже хитрости и непрямоты, такой человек никогда не бывает счастлив.

Ну прощай, 11 ч. ночи, писать пора.

Мама твоя читает “Петербургский листок”. Все мы счастливы; что-то будет потом.

Еще раз твой любящий отец

Василий

Все говорят, что ты и я сняты тут точь-в-точь похожи, и что ты всегда бываешь такая, когда я держу тебя на руках (люблю с тобой обедать и чай пить).

Это написал тебе на память, если буду жить или умру».

Умерла она, не дожив до годика, и девочку похоронили на Смоленском кладбище близ могилы Ксении Петербургской, а у Розанова началась никакая не фиктивная, как ему было обещано, но самая настоящая чиновничья жизнь в Госконтроле (аналог современной Счетной палаты – контроль за госзакупками, борьба с коррупцией и т. д.), скудная, трудная, кропотливая, для которой он годился немногим больше, чем для преподавания. «В голове стучат шурупы с полукруглыми головками, плоское и круглое железо, шпингалеты и все прочее, что приобретает Главное Общество Российских железных дорог и на чем ворует, а я предполагаюсь в роли его учителя и поимщика; но я никогда не мог уличить кухарку в воровстве говядины, – как же уличу Главное общество в воровстве шурупов?»

Впрочем, его новый начальник полагал, что этот радостный стук может оказаться для молодого писателя весьма и весьма полезным, ибо «сообщит точность его суждениям и выра-

жению мыслей, в чем он более всего нуждается», а также «даст ему возможность сократить размеры собственно писательского труда к несомненному улучшению его качества». Но Розанов был слишком независим и горд, чтобы позволить кому-либо рассуждать и о качестве, и о количестве своего письма.

К тому же он уже тогда считался восходящей звездой, о чем знал даже граф Лев Николаевич Толстой, коему Страхов писал 29 июня 1893 года из Эмса, не вникая в «терки» своего подопечного с Филипповым: «Потом, перед отъездом из Петербурга, меня очень занимала “колония славянофилов”, которую я открыл на Петербургской стороне. Т. И. Филиппов, Госуд[арственный] Контролер и известный ревнитель православия, набрал к себе в Контроль целую толпу писателей. 1. Аф. В. Васильев, 2. Каблиц, 3. Т. Соловьев, 4. Н. Аксаков, 5. Романов, 6. В. В. Розанов. О последнем Вы кое-что знаете, и он-то, перебравшись недавно в Петербург, свел меня с некоторыми из них. Какие умные, чистосердечные и скромные люди! Розанов во всех этих отношениях – звезда между ними. Мне придется, кажется, больше всего внушать им всякое вольнодумство: они почти все с таким же жаром отдаются консерватизму, с каким когда-то нигилисты бросались в нигилизм. Во всяком случае, кружок мой заметно изменился и оживился. Розанов – удивительное милое существо».

«Я был какая-то “начинающая знаменитость из провинции”, – подтверждал свою репутацию и сам В. В., делая, однако, акцент на делах денежных, – и вот, после “нехорошей встречи” с Тертием (сразу оба не понравились друг другу, необъяснимо – почему) началось “спускание меня по государственной службе”, где кусательную сторону составляло конечно жалование: после 150 р. в Белом, где я за квартиру в 8 комнат платил 25 р., я получил “прикомандированный к Афоньке” – 100 р., с квартирой в 37 р. из 4 комнатухек “во двор”. Ну, и провизия – уже не как в Белом, где пара “рябцов” (рябчики) неизменно стоила 30 коп., т. е. 15 к. рябчик, и говядина – 10 к. “черкасская”, и молоко – латышка Штэкмо носила – почти даром. А жалование убавилось на 50 р.».

«Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение. Розанов тогда служил в контроле. И сразу понималось, что это нелепость», – вспоминала Зинаида Гиппиус.

Особенно остро эту нехватку ощущала хозяйка дома, но никогда не роптала, мужа ни в чем не обвиняла, терпеливо неся свой крест (и при этом наверняка не раз поминала одну тысячу рублей, взятых с ее мужа за по сути бесполезное венчание в Ельце). «Перед праздником, – с горечью вспоминала В. Д., – прибегает девочка дворника; если не заплатите за квартиру, дров не принесем! а у нас нет ничего, Вася в Контроле служил».

Он не ошибся в жене. Аполлинария бы так, скорей всего, не смогла и принялась бы изводить мужа бесконечными жалобами и называть в очередной раз ничтожеством. А Варя...

«И она, пока я считал в Контроле, сносила все в ломбард, что было возможно. И все – не хватало. Из острых минут помню следующее. Я отправился к Страхову, – но пока еще не дошел до конки, видел лошадей, которых извозчики старательно укутывали попонами и чем-то похожим на ковры. Вид *толстой ковровой* ткани, явно *тепло укутывавшей* лошадь, произвел на меня впечатление. Зима действительно была *нестерпимо* студеная. Между тем каждое утро, отправляясь в Контроль, я на углу Павловской прощался с женой, я – направо в Контроль, она – налево в зеленую и мясную лавку. И *зрительно* было это: она – в меховой, но *короткой, до колен*, кофте. И вот увидев этих “холено” закутываемых лошадей, у меня пронеслось в мысли: “Лошадь извозчик теплее укутывает, чем я свою В. такую нежную, никогда не жалующуюся, никогда ничего не просящую”. Это сравнение судьбы лошади и женщины и судьбы извозчика и “все-таки философа” (“О понимании”) переполнило меня в силу возможно гневной (т. е. она *может* быть гневной, хотя вообще не гневна) души таким гневом “на все”, “все равно – на что”, – что... можно поставить только многоточие. Все статьи тех лет и, может быть, письма тех лет и были написаны под давлением единственно этого пробужденного гнева, – очень мало, в

сущности, относимого к тем предметам, темам, лицам, о которых или против которых я писал». И в другом месте: «Я считаю все эти годы *в литературном отношении* испорченными».

Едва ли это была справедливая оценка, он становился все известнее, и его позиция вырисовывалась все отчетливее. В том числе общественно-политическая, близкая к революционности, но не социалистической, не левой, а, напротив, ультраконсервативной, ультрамонархической и при этом действительно очень эмоциональной, гневной, возмущенной, уже тогда провокационной. «Отец был спокойно-консервативно настроенный человек», – вспоминала Т. В. Розанова, однако согласиться со словом *спокойно* в этом суждении едва ли возможно. По крайней мере если говорить о его первых петербургских зимах, когда в статье о Ходынке как народной расплате за убийство Александра Второго В. В. писал: «Да будет же благословенно 18 мая 1896 года! Да будет благословенна пролившаяся там кровь! Бог спас нас. Невозможно представить себе, как восстановилось бы прежнее чувство в государях наших. Нужно было нечто столь же интимное, столь же ужасное, трогательное, но только обратное по смыслу первому марта (1881 года, убийству Александра II. – А. В.); и, конечно, мы не могли бы ни придумать, ни сделать этого; для рук человеческих это и вообще было неисполнимо. Нужно было произойти великому, неслыханному несчастью, – несчастью на глазах, или почти на глазах, Государя, с этим именно, отвергшим любовь Его, человеческим стадом, и, наконец, несчастью во имя любви к Нему, в миг высказывания этой любви. Только в таком особенном сочетании, не рассчитанном, не предугадываемом, не построенном даже в воображении, факты могли затереть кровавое пятно первого марта, точнее: вдруг как бы снять скорбь и чувство *отделенности* от народа с сердца Государева. И это именно 18 мая совершилось...»

Не приемля слабое, беззубое и вместе с тем «*атеистическое и революционное*», состоящее «сплошь из дурачков» правительство, отрицая подлую печать, которую «захватили нигилисты» и которая обманывает общество и не повинуется народному духу, Розанов писал своему будущему издателю Петру Петровичу Перцову: «Вот отчего мы призываем очищающую атмосферу от миазмов *грозу*; мы зовем черную, монашескую, старо-русскую, церковную революцию против революции хлыщей и пижонов, вальсирующих и канканирующих над задавленной, оплеванной ими Россией».

Разумеется, это все не могло пройти незамеченным, и понятно, как воспринималось либерально мыслящей интеллигенцией, задающей тон общественному мнению в России. У В. В. стало больше и друзей, и врагов, иногда – что очень по-розановски – менявшихся местами. «Вот, значит, о Вас говорят, интересуются, пожалуй, ругают, но во всяком случае *творят* Вам известность без малейших к тому с Вашей стороны усилий», – справедливо отмечал в письме Розанову его новый друг и единомышленник, «гениальный тунец» Иван Федорович Романов (Рцы). А В. В. в это же время сам то ругался, то мирился с философом Владимиром Соловьевым, который после полемики на религиозные темы обозвал своего оппонента Иудушкой, и прозвище это надолго к нашему герою приклеилось. Розанов позднее писал, что не воспринял его как убийственное оскорбление, хотя в ответ назвал своего обидчика «танцором из кордебалета», «тапером на разбитых клавишах» и «блудницей, бесстыдно потрясающей богословием». Это не помешало их личному, по инициативе Соловьева, знакомству и общению, однако за своего ученика оскорбился его старший товарищ.

«Ничего не понимаю в том, что вы рассказываете о Соловьеве, – писал Розанову Рачинский. – Быть у вас ему следовало, но не иначе, как с повинною в брани, коею он вас осыпал в угоду редакции “Вестника Европы”. Но и этого мало: в этой брани он должен был показаться печатно. Одно из двух: или вы – Иудушка, и в таком случае вам и руки подать нельзя. Или назвавший вас этим именем недостоин, чтобы руку подали ему вы, пока не снимет он с себя позора, которым он себя покрыл. А то пришел, как ни в чем не бывало, с визитом, попросить книжечки, побеседовать об антихристе... (Кстати, то, что вы говорите о последнем, очень умно.) Хороши, нечего сказать, наши литературные нравы *fin de siecle*! И вспомните, что

Соловьев, каков бы он ни был, не заурядный фельетонист по столько-то за строчку. Мысль его вращалась в самых высоких сферах философии и богословия; вырос он в среде нравственно чистой; ему было доступно общение с лучшими людьми России... Печально и страшно!»

Но Розанова больше задевало другое, о чем позднее рассказывал в «Кукхе» А. М. Ремизов. «В Контроле когда-то служил и Розанов. Невесело вспоминает: “Едешь, бывало, на конке наверху. А Вл. С. Соловьев в коляске катит. Нет, вы этого никогда не поймете, никогда, никогда!”».

Жизнетворец

Итак, наш герой пострадал за идею, назвав впоследствии поворот, случившийся в его жизни в 1893 году, «изуверским», а последовавший за ним период – «Леонтьевско-Катковским», но потом между ним и славянофилами пробежала черная кошка, впервые объявившаяся в просторном кабинете Т. И. Филиппова. Это было неизбежно. При том что «наши» и между собой не могли зачастую найти общего языка, и у них «своя своих не познаша» (так, например, Рачинский «физиологически» не выносил своего однокурсника Леонтьева), но уж Розанов-то точно был другим, иной породы и природы, абсолютно беспартийным – сам себе партия! – человеком, не способным следовать никакой общей, пусть даже достаточно размытой идеологии.

«Они все, Тертый, Аксаков, Афанасий (тоже длинная борода) – были тусклы, скучны, невыносимы и неудачны в литературе: и это их как-то “связывало” и объединяло, внутренне дружило и “сердце сердцу весть подавало”, – писал В. В. много лет спустя П. П. Перцову в пору нового разлада с уже другими «нашими». – И вот – славянофилы. Захлебываются Хомяковым, И. С. Аксаковым и “всеми Аксаковыми, сколько их не писало”, Самаринскими – и тоже “сколько их ни писало”: и с какою-то адскою злобой, не нужно им и беспричинно, без вызова с его стороны (так, “молчу”) – прямо ненавидят одного только Розанова, и по той причине, что (кроме одного Рцы) он скучает с ними и “речь не плетется”. Но я бы пожелал видеть человека, у которого “плелась бы речь” с Афанасьем».

Скорей всего, он даже не считал нужным свое пренебрежение скрывать. Он был звездой, они – нет. А значит, ему не пара, и Розанов пошел по свету искать себе равных, хотя бы в приближении. Причем он не просто ушел, а ушел сердито, расплевавшись. Да что там расплевавшись? Кроткий, безвольный, боязливый, вечно ведомый, упорный только в мечте В. В. двинулся открытой войной против «заединщиков» конца XIX века.

«Мои убеждения тогдашние – все плод рикошета; личного отталкивания от петербургского славянофильства (несколько вовсе неизвестных литературных имен)... контроль, чванливо-ненавидяще надутый Т. И. Ф., редакции “своих изданий” (консервативных), не платящие за статьи и кладущие “подписку” на текущий счет, дети и жена и весь “юридический непорядок” около них, в душе – какая-то темная мгла, прорезаемая блёсками гнева: и я, “заворотив пушки”, начал пальбу “по своему лагерю” – всех этих скупых (не денежно) душ, всех этих ленивых душ, всех этих бездарных душ. Пальбу вообще по “хроменьким, убоженьким и копящим деньжонку”, по вяленьким, холодненьким и равнодушным».

«Озираясь на все это, на этих людей, которые противны, как гробы, я думаю как-нибудь отречься от славянофильства (т. е. печатно)!\», – писал он в августе 1895 года Рачинскому. «Вам, батюшка, надо выплюнуть все славянофильство, особенно в заключительной его фазе, с безголовым болтуном Ив. Аксаковым во главе – иначе Вы не вступите в самонужнейшую фазу истории нашей, фазу собирания сил, сосредоточия мысли, крепости мышц и решимости», – давал напутствие Розанов Перцову, а на самом деле – себе.

«Я сам был славянофилом, и не помню ни дня, ни часа, ни года, когда перестал быть славянофилом... Славянофильство как-то выпарилось, выпало из меня, как из пузырька без пробки – духи, остаток духов, духи на доньшке. Может быть, вообще славянофильство – испаряющаяся пахучесть? Может быть. Это было бы приятным “надгробным утешением”. Я думаю, славянофильство потому “погибоша аки обры”, что у них “стрела не звенела”. Они были чрезвычайно “травоядны” и уже до чрезмерности не хищны. Ни коготка, ни клювика. Точно дьякон Псалтырь читает. Слушали, слушали. Потом перестали слушать. Потом он перестал читать. И нет ни дьякона, ни Псалтыри, один резонанс...» – писал он в 1901 году, а три года спустя в нововременской статье «Поминки по славянофильству и славянофилах» вскользь обронил:

«Все вообще славянофильство похоже на прекрасно сервированный стол, но в котором забыли посолить все кушанья. И все они, от этой одной ошибки повара, получили удивительно сходный, однообразный и утомительный вкус; попробовать еще – ничего, но есть по-настоящему – невозможно. Таковы их стихи, рассуждения, пафос, негодование. “Не солоно! Ни капельки соли!” И всякий кладет ложку; или, переходя от сравнения к делу – редко кто славянофильскую книгу дочитывает до конца или даже до середины. Горестная судьба!»

Однако важнейший его пункт, розановский протест, вопль был связан не с травоядностью славянофилов, не с тем, что их соль утратила силу, а может, и солью-то никогда не была, не с идеологией и историческими фазами и даже не с тем, что эти «архилакеи ходят в поддевах и лижут ж-пу у Третья», но с делами личными, семейными, с тем, что он выше назвал «юридическим беспорядком», а именно – его жена не считалась его женой, его дети – а у него в 1895 году родилась дочь Татьяна, затем в 1896-м – Вера, в 1898-м – Варвара, в 1899-м – сын Василий и последняя в 1900-м – Надежда – не считались его детьми и были записаны на имена своих крестных родителей.

Подобных случаев в империи было много, очень много, в том числе и в литературной среде, но все же важно заметить, что таких многодетных отцов, как герой этой книги, в русской литературе Серебряного века не было. Кого бы из крупных писателей мы ни вспомнили – Горького, Брюсова, Вяч. Иванова, Волошина, Леонида Андреева, Блока, Белого, Сологуба, Бальмонта, Анненского, Бунина, Ремизова, Куприна, Корнея Чуковского, Алексея Толстого, Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, Чулкова, Ходасевича, Георгия Иванова, не говоря уже о Гиппиус с Мережковским или Клюеве и Кузмине – это всё были люди бездетные, либо – один-два, максимум три ребенка и в таком случае, как правило, от разных жен. Розанов и здесь оказался уникален: по сути дела, он стал вторым после Льва Толстого многодетным отцом в истории большой русской литературы²⁴, и именно его многодетность, его семейственность предопределили в его жизни практически всё, и в том числе авторскую стратегию, внимание к этим, а не другим темам. Причем дети в семье появились на свет в тот период жизни, когда ее глава еще не был ни относительно богат, ни безусловно знаменит, и вряд ли то был акт житнетворчества, претворения в жизнь ветхозаветных патриархальных теорий, стремление кому-то что-то доказать и отличиться. Нет – они с Варварой Дмитриевной вопреки обстоятельствам и болезням жены рожали одного за другим детей, считая это единственно возможной, естественной, нормальной формой супружеской жизни, и тем, кто сегодня любит безапелляционно рассуждать о розановском «антихристианстве» и выносить писателю моральный приговор, это не худо бы иметь в виду. Все было много сложнее и запутаннее и в его жизни, и в его смерти.

«Благословение же Божие нашему союзу я вижу в непрерывном Варвары чадородии, в безупречном нашем счастье, в непоколебимой верности; и когда “волос человеческий” без воли Божьей не падает, столь огромные дары не суть без воли Божьей», – писал Василий Васильевич с полной внутренней убежденностью в 1899 году в своем втором завещании, и то, что ни государство, ни Церковь не могли, не хотели этих детей, эту семью признать и узаконить, когда Сам Господь за нее, выглядело в его глазах абсурдным, несправедливым, несправедным, раздражало, унижало и оскорбляло его более всего на свете. Но обижался он не только и не столько за себя.

«Знаете, главный мотив, и слава Богу, *былой* вражды к Церкви, что она обидела Варю, и как все это было в тайне – но онтологически обидела, – объяснял Розанов много лет спустя о. Павлу Флоренскому. – Варя же *никого в жизни* не обижала, и, больная, ежедневно читала (и все один его) Акафист Скорбящей Бож. Мат. Это сопоставление *вечно* молящегося человека (как

²⁴ Справедливости ради, шестеро детей было у М. О. Меньшикова, шестеро у И. Ф. Романова (Рцы), и это поразительный факт, как два таких разных человека – один прямой розановский оппонент, второй – в течение нескольких лет товарищ и единомышленник – были схожи с В. В. в этой очень важной семейной подробности.

никто) с “дисциплинарным” (ц. термин) отражением ее точно сожгло мою душу, это было 15 лет сжения в одну точку. Варя за это не имела ни гнева, ни горечи, а лишь скорбь за несчастье, а у меня перешло в гнев».

Так оно и было, и на «квадратных славянофилов», на консерваторов, на православных, на церковных, на тех, у кого «бороды лопатой», он был разгневан особенно. «А, так вот *откуда* мое несчастье, вот от *каких* благочестивцев, старающихся о возрождении Руси, о сиянии православия, – и благовествующих, что настало, с ними и с их “церковной школой на Руси”, благодатное царство на земле. Эта догадка через несколько лет дала мне (в 1897 г.) толчок повернуть все “к язычеству”. “Лучше танцующая Дункан, чем ваши мякинные и со вшами бороды лопатой”. Больше в Дункан правды, больше *ясности*, стократно больше *доброты*: потому что с ней – *природа* (язычество). А вы – всего только мертвецы с нашитыми по позументу крестиками (орнаментация одежд)».

Дункан, впрочем, появится в столице лишь в 1912 году, когда и Розанов станет совсем иным и много всякого разного про церковь понапишет. А на тот момент он был еще стойкий консерватор, не уклонившийся покуда ни в ереси, ни в соблазны, – и ему не могут пойти навстречу, сделать для него исключение и изменить закон, чтобы не человек был для субботы, но суббота для человека, когда и вола, упавшего в яму, вытащить не грех?

А тут:

«Задавило женщину и пятерых детей.

Тогда я заволновался и встал».

Кстати, позднее это состояние розановского надрыва очень хорошо почувствовал и понял двадцатитрехлетний Александр Блок, который ничего про положение дел в семье Розанова не знал, но писал о В. В. в письме Андрею Белому: «...вся пружина его громадного (по-моему) творчества держится на трагедии (т. е., как всегда – борьбе, страдании и беспокойстве)».

Розанов искал любые способы, как переломить ситуацию в свою пользу, как узаконить брак, какую найти юридическую лазейку. Можно предположить, что именно тогда и возникла в его голове идея подправить историю взаимоотношений с Аполлинарией Прокофьевной, сдвинув даты и задним числом обвинив первую жену в том, что за пять лет до его второго венчания она изменила ему с евреем Гольдовским, а потом и вовсе мужа бросила и, несмотря на его неоднократные слезные просьбы, не пожелала возвращаться. А стало быть, его новый брак – законен и справедлив. Он, как уже говорилось, написал преподобное прошение митрополиту Петербургскому Антонию, все рассказав и про злую первую жену, и про милосердную вторую, и про незаконное венчание (заметим в скобках, что обвенчавший его с Варварой Дмитриевной священник к тому времени уже скончался), и про деточек, которые ни в чем не виноваты, и про христиан, которых он боится, ибо они суть люди «жестокие или уклончивые». «Наша хата с краю – ничего не знаем»; «тебе, батюшка, крест – ты и носи».

А кроме того, В. В. попробовал действовать через Анну Григорьевну Достоевскую, с которой был знаком еще с 1893 года, когда в знак благодарности за «Легенду о Великом инквизиторе Достоевского» она прислала ему в дар собрание сочинений покойного мужа, и между нею и Розановым завязалась переписка.

Считавший себя «наиболее упорным толкователем мыслей» Достоевского Розанов не раз вместе с Варварой Дмитриевной навещал в Петербурге вдову писателя, и однажды речь зашла о его бедственном семейном положении. Несложно представить, как поразила Анну Григорьевну история с участием женщины, к которой она когда-то ревновала своего супруга, опасаясь, что он уйдет от нее к разлучнице, к своему «вечному другу» Полине²⁵. И вдруг много

²⁵ Через два месяца после свадьбы Достоевский послал Сусловой письмо, в котором рассказал ей о своей женитьбе и закончил так: «Твое письмо оставило во мне грустное впечатление. Ты пишешь, что тебе очень грустно. Я не знаю твоей жизни за последний год и что было в твоём сердце, но, судя по всему, что о тебе знаю, тебе трудно быть счастливой. О, милая, я не к дешевому необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность, но ведь я знаю,

лет спустя демоническая, фантастическая Аполлинурия Прокофьевна как призрак прошлого вновь появилась на ее горизонте, да к тому же в таком странном качестве, словно кто-то писал про них про всех роман.

Больше того. Выскажу предположение, что именно она, Анна Григорьевна Достоевская, и раскрыла самому Розанову или же Варваре Дмитриевне (что было ей по-женски проще) подоплеку взаимоотношений Аполлинурии Прокофьевны с Федором Михайловичем, прояснила и дополнила ее недостающими деталями и подробностями. И если это так, то лишь в конце девяностых годов, давно расставшись с Суловой, В. В. и узнал, что, оказывается, в свое время «женился на Достоевском», мистически соединился с ним, приобщился, познал через тело Аполлинурии и пр. и пр., и вся его последующая «достоевская» мифология, все сравнения «Суслихи» с героинями Достоевского, пошли тогда и отсюда.

«Розанов, тесно сотрудничавший с Мережковскими в начале века, отличался от остальных членов их ближнего круга, отчасти потому что не принадлежал к атмосфере *fin de siècle* с ее утопическими прожектами: ему не хватало искусно сконструированной биографии с мифологическим потенциалом – необходимого условия символистского житнетворчества», – в принципе очень верно написала Ольга Матич, но на это как раз и можно возразить: вот он, пример такой конструкции!

Поэтому еще раз подчеркну: знал или нет изначально В. В. о характере отношений Федора Михайловича и Аполлинурии Прокофьевны, он в ту пору этому значения не придавал и влюбился и женился на ней вовсе не по той причине, что она была возлюбленной его кумира. И точно так же ни Страхову, ни Рачинскому он не сказал о сем факте ее биографии ни слова просто потому, что это все было для него тогда не важно, а вот Мережковскому, Гиппиус, Брюсову, в их разговоры, в их дневники, в письма, в их воспоминания, чтобы передалось всем будущим розановедам, филологам, философам – это было в самый раз!²⁶

Конечно, доказать, что все обстояло именно так, я не могу и категорически на своей версии, которая разрушает множество других остроумных филологических построений, не настаиваю. Но что можно утверждать наверняка – вдова Достоевского была настолько переполнена как собственными женскими воспоминаниями, так и сочувствием к молодой многодетной паре и так жаждала ей помочь, а к тому же была хорошо знакома с обер-прокурором Синода Победоносцевым (который, как мы помним, Розанова тоже знал и, несмотря на темный стиль, ему пока что симпатизировал), что шанс выручить из беды «униженных и оскорбленных» родителей и их детей был велик как никогда...

Фрагменты переписки Василия Розанова и Анны Достоевской, относящиеся к этому сюжету, есть смысл процитировать как эпистолярную новеллу.

что сердце твое не может не требовать жизни, а сама ты людей считаешь или бесконечно сияющими или тотчас же подлецами и пошляками. И сужу по фактам. Вывод составь сама. До свидания, друг вечный!» Известно также, что Аполлинурия своему бывшему возлюбленному ответила, и, прочитав этот ответ тайком от мужа, двадцатилетняя Анна Григорьевна записала в своем дневнике: «Я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Мне было холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, что старая привязанность возобновится и что любовь его ко мне исчезнет». Ср. также: «За чаем он спросил, не было ли ему письма, и я ему подала письмо от нее. Он или действительно не знал, от кого письмо, или притворился незнающим, но только едва распечатал письмо, потом посмотрел на подпись и начал читать. Я все время следила за выражением его лица, когда он читал это знаменитое письмо. Он долго, долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там было написано, потом, наконец, прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки. Я сделала вид, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка. Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улынулся».

²⁶ И не случайно, кстати, передавая письма А. Г. Достоевской в Румянцевский музей, Розанов снабдил их следующей характеристикой: «Достоевская Анна Григорьевна Конечно, лучшего он не мог сделать, как женясь на ней. NB. Апол. Прок. С-а была в 60-х годах, как раз перед женитьбой на Ан. Гр. возлюбленной Ф. М. Д-го».

Бедные люди

В. В. Розанов – А. Г. Достоевской

до 4 февраля 1898 года

«Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Не знаю, как Вас и поблагодарить за участливость, с которой Вы выслушали вчера Варю правда об очень тяжелом нашем положении. Иногда я представляю себе несчастным по *всем* жизненным линиям: нужда – но разве она одна; Варя Вам рассказала, оказывается, о Сусловой: каково же ее положение, т. е. Вари, и положение детей. Сколько хотел я раз написать Победоносцеву, но именно то, что характер моих сочинений несколько религиозный, мне было мучительно стыдно пред ним сознаться в том, что все так жестоко и несправедливо называют “блудом”. Варя есть само самопожертвование, и она так же целомудренна, как Суслова, по справедливой Вашей догадке, цинична (я женился на ней на 3-м курсе университета; она уехала от меня, влюбившись в молодого еврея, через 6 лет нашей жизни, и жива еще – живет в Нижнем в своем доме). Раз Вы знаете о Сусловой, не можете ли Вы, дорогая и добрая, заикнуться Победоносцеву и о положении моих детей. За что малолетние страдают – непостижимо, и конечно они страдают не по Христу, а по суемудрию человеческого; почему жена, бросающая мужа, имеет все гражданские права; почему женщина, которая как самарянка склоняется над израненным и кинутым человеком – не имеет никаких прав? Все это не по Христу. Когда я думаю об этой несправедливости, у меня голова идет кругом, и я чувствую величайшее в себе раздражение; просто чувствую, что от этого весь мой характер и вся литературная деятельность исказились. И при этом нужда, доходящая до самых унижительных форм, и при непрерывной почти слабости жены (малокровие, нервы, женские болезни). Что же я оставляю своим трем дочерям малолеткам: пенсии – нельзя, они не “мои”, а какие-то “Николаевы” и “Александровы” по чудовищному закону, отнимающему детей от родителей; какая же их судьба ждет? Проституция? – вот заря будущего для меня, и награда за поистине тяжкий, безысходный труд, в каком я живу, не ложась спать раньше 4-х часов ночи, и совершенно изнеможенный нервами. И когда я оглянусь на эту темь несправедливости, я очень, очень начинаю понимать самые радикальные тенденции и порывы. Помилуйте, все злое наверху и вас душит; а все доброе под низом...

Крепко жму Вашу руку и еще раз благодарю Вас горячо, горячо. Глубоко Вам преданный В. Розанов».

А. Г. Достоевская – В. В. Розанову

4 февраля 1898 года

«Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Прочла Ваше письмо и вижу, что Вы находитесь в тяжелом настроении. Мне от всего сердца хотелось бы помочь Вам, но только укажите, как это сделать. Но прежде чем будем говорить о делах, позвольте мне сказать Вам несколько слов: Простите меня, но мне представляется, что Вы слишком трагически смотрите на Ваше положение и на будущность Ваших малюток. Я вполне понимаю, что Вы страдаете от того несчастного положения, в которое поставлены, страдаете не только за себя, но еще больше за детей и за милую Варвару Дмитриевну. Я вполне понимаю всю несправедливость Вашей судьбы и согласна, что Вы страдаете “не по Христу, а по суемудрию человеческого”. Но что тут поделаешь, раз установившиеся законы таковы и трудно ждать их изменения. С этим обстоятельством надо примириться, и Варвара Дмитриевна показывает в этом случае добрый пример. Она говорила мне, что вполне счастлива; что ее ложное положение не было бы для нее тяжело, если б оно не отражалось так на Вашем здоровье и настроении, если б Вы не придавали этому обстоятельству такого трагического значения. Ведь Ваше ложное положение есть несчастное стечение обстоятельств и

каждый человек с душою может только жалеть и сочувствовать Вам. – Вас мучает будущность Ваших девочек. – Но ведь это еще можно поправить, их можно узаконить или приписать (не знаю, как называется это в законах). За последние годы вышло несколько законоположений, благодаря которым родители могут узаконить своих незаконнорожденных детей, и для этого не требуется ни больших влияний, ни больших средств. Если для узаконения их потребуется влияние Победоносцева, я с удовольствием берусь хлопотать у него об этом. Я знаю две семьи, где были узаконены дети и получили фамилию отца. Я непременно разузнаю все подробности, как совершаются узаконения детей, и Вам сообщу в непродолжительном времени. Очень возможно, что Вы устроите узаконение Ваших малюток и тогда они будут Вашими наследниками и в пенсии, если бы Вы (чего Боже избави) скончались, не успев их воспитать и поставить их на ноги. Но допустим, что узаконение малюток Вам не удалось (а оно наверно удастся), то и тогда не следует вперед так мучиться судьбою их. Будьте убеждены, что в случае несчастья Бог поможет деткам, чужие люди придут им на помощь и устроят их дальнейшую судьбу...

Искренне преданная А. Достоевская».

В. В. Розанов – А. Г. Достоевской

9 февраля 1898 года

«Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Воистину – Вы ответили мне как сестра, горячо, быстро и открыто... Спасибо Вам горячее и за доброе чувство к Варе: она не избалована им; и слишком, слишком нуждается в ласке. Разве все такие как Вы? разве она не чувствует, что право оскорбить ее – остается у всякого? и хоть грубые люди – но разве не пользовались, даже иногда не нарочно, и она бедная вся дрожит, когда мельком, в разговоре, кто-нибудь упомянет слово “наложница”. Это слово (она ужасно неопытна) стало ее кошмаром, гонящимся за нею звуком: и сколько, сколько раз я ее убеждал не думать, что чуть она имела в виду, или что они “что-то знают” о ней. Верно она Вам говорила (я говорил Ник[олаю] Николаевичу] Стр[ахо]ву), что мы все-таки повенчаны, без чего ее старушка мать не хотела ее отдавать: “мне легче живой лечь в могилу, чем видеть свою дочь потерявшею себя”; и обвенчал ее деверь, брат покойного ее мужа, а теперь старушка ее мать только и дышит нами, обоих нас без памяти любя. И вот, подите же, судьба какая: именно эта встреча и сделала меня религиозным писателем, т. е. пробудила отвращение ко всему светскому и суетному, и обратила мысль к вечным основам жизни, и к вечным человеческим чувствам...

Ваш преданный В. Розанов».

В. В. Розанов – А. Г. Достоевской

13 марта 1998 года

Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Боюсь, не захворали ли Вы?

Пишу это письмо Вам, чтобы напомнить о предложении Вашем по истечении 3-ей недели Великого поста съездить к Победоносцеву и поговорить о моих детях. Зная Вашу точность и деловитость, и что слово Ваше “мимо” не идет, я и не хотел Вам писать, но Варя тревожится, а я ей объясняю, что у Вас *самой* что-нибудь не ладно. Да хранит Вас Бог. Варя Вам кланяется.

Преданный Вам В. Розанов.

А. Г. Достоевская – В. В. Розанову

16 марта 1898 года

«Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Я не писала Вам потому, что, к большому моему горю, не могу сообщить Вам что-либо утешительного по поводу беспокоящего Вас обстоятельства. Но расскажу все по порядку.

Мне необходимо было повидаться с К[онстантином] П[етровичем] П[обедоносцевым] по делу моего сына и чтобы застать его *наверно*, я пошла к нему в приемный день. Разговор наш затянулся, и я не успела перейти к Вашему поручению, как дежурный чиновник доложил о приезде какого-то высокопоставленного лица, которого надо было принять немедленно. Тогда я сказала К. П., что подожду его, потому что имею другое дело, относящееся до незнакомого ему лица. “Какое дело?” – “По поводу усыновления детей”. – “В таком случае, пока я занят, поговорите с моим помощником-юристом, с которым я всегда советуюсь, и передайте мне, что он Вам скажет”. (Надо Вам сказать, что в приемные дни у К. П. всегда присутствуют специалисты по различным вопросам, с которыми он советуется или к которым он направляет своих посетителей для объяснения больших подробностей.) Я обратилась к указанному мне юристу и рассказала ему Ваше дело (конечно, не называя Вашего имени) и получила ответ, что приписать детей в формуляр отца при существующих условиях – дело невозможное, беспримерное, и что не только К. П., но и сам Государь не в праве этого сделать, так как это противозаконно. Юрист предложил мне такой исход: обратиться к чувствам великодушия и доброты Вашей жены (Аполлинии Прокофьевны), описать ей печальное положение дел и просить, чтобы она, одновременно с Вами, обратилась в Суд – и выразила желание удочерить Ваших девочек, сделать их своими приемными дочерьми. Окружной Суд, получив просьбу Апол. Прок. и Вашу, постановит благоприятное решение, девочки Ваши получат Вашу фамилию и следовательно могут быть записаны в Ваш формуляр. Очень возможно, что Апол. Пр. и не отказалась бы подать такого рода просьбу, так как, почем знать, может быть, в ее душе и существуют великодушные чувства; может быть, она и сознает свою вину пред Вами и желала бы что-либо сделать доброе для Ваших детей.

Но тут возникает другой вопрос. Представьте себе, что Суд признает Апол. Пр. приемною матерью Ваших девочек, и вот Ап. Пр., как женщина взбалмошная, захочет воспользоваться своими правами приемной матери, захочет взять одну из девочек к себе на воспитание. Вам придется отстаивать своих девочек от ее попечений. По-моему, этот исход не годится; если он и доставит законность Вашим детям, зато он подвергнет их и Вас и милую Варвару Дмитриевну таким неожиданностям и неприятностям, что лучше отказаться от этого намерения.

Второй исход, предлагаемый юристом – это развод, на кот[ор]ый, может быть, Аполл. Пр-а и согласилась бы, разумеется, с тем, что Вы возьмете вину на себя. Почем знать, может быть, Ап. Пр. желала бы быть свободной, чтобы вновь выйти замуж (она так фантастична), и согласилась бы на развод. Тогда, сделавшись вновь свободным, Вы могли бы просить Окружной Суд о признании Ваших девочек Вашими приемными дочерьми, и они получили бы законность и Ваше имя. Но развод стоит больших хлопот, а потому трудно осуществить.

Когда я спросила юриста, нет ли третьего исхода, он ответил: “Вы говорите, что жена значительно (на 20 лет) старше своего мужа, значит есть вероятие, что она умрет ранее его и таким образом дело уладится само собою”. Затем я спросила юриста, как поступить в случае смерти Ап. Пр.? (что так возможно, ей теперь лет 58–59, а в эти годы почти всегда умирают женщины, проводившие бурную жизнь). Он ответил, что следует обвенчаться вновь вторично, а тогда узаконить детей не представит особого затруднения. Когда же я ему сказала, что ведь брак был уже совершен, то он посоветовал (в случае смерти первой жены) заявить Окружному Суду о том, что в таком-то году, в таком-то городе был совершен брак таким-то священником, но по недосмотру его не записан в церковную книгу. Тогда произведут дознание, и если найдутся свидетели брака (диакон, дьячок, шафера, сторож или кто-либо), то брак будет признан законным, а следов[ательно] и дети законными.

Я знаю, что желать смерти ближнему – не христианское дело, но когда я подумаю, сколько зла принесла разным людям Ап[оллиния] Пр[окофьевна], то, право, не могла бы огорчиться, узнав о ее смерти. Но не нам судить. Будем надеяться, что Господь устроит так или иначе Ваше семейное счастье.

К тому же, стоит ли огорчаться, что Ваши девочки не носят Вашу фамилию: вырастут, выйдут замуж, и это обстоятельство не повлияет на их счастье и будущность. Вся задача лишь в том, чтоб поднять деток, вырастить и воспитать их, а для этого Вам надо беречь себя, беречь свое здоровье и не беспокоить себя печальными мыслями. Вы христианин – положитесь на Господа. Он устроит Вашу судьбу и судьбу Вашей семьи!..

Искренно Вас уважающая и преданная А. Достоевская».

В. В. Розанов – А. Г. Достоевской

вторая половина марта 1898 года

«Глубокоуважаемая Анна Григорьевна!

Сердечно Вас благодарю за умный, осмотнительный и внимательный опрос юриконсульты Победоносцева; да, мудреная это вещь, но расторжение связи отца с ребенком есть столь явно демоническая тенденция, что она крайне опасна для существа религии и церкви, если только содержится в ее принципах. Победоносцев с сердцем и далеким, пронизательным умом; он полон жажды мира; и знает, что до времени скрывающиеся под водою камни обнаруживаются в полую воду. Религия и церковь вся держится на твердых родительских чувствах; и противопологать их, – повторяю, не столько для них, сколько для существа церкви, существенно опасно. Конечно, моих детей я никогда не брошу, не пойду “в путь века сего”; но что косвенно, через переименование их в “Николаевых” и “Александровых”, когда они по плоти “Розановы”, мне как бы подсказывается: “брось их”, “брось любящую тебя жену”, самоотверженную, трудящуюся, – потому что “записанная за тобою” гуляет на стороне: повторяю, это не потрясая любви моей и сознания долга, косвенно и отдаленно тревожит фундамент церкви. Приписать детей в мой формуляр – это формальность, которая кровного ущерба никому не приносит; от Сусловой у меня не было детей; она сама ко мне никогда не вернется; пользоваться проституцией, мне предлагаемой “обычаями”, дозволенную “законами” и терпимую церковью – я не хочу; а следовательно и церковь имеет долг “помочь в субботу вылезти из ямы впадшему в нее”; т. е. она имеет долг сказать: живи брачно, не грязнись в проституции, и не отрицайся детей своих. Это круг понятий, довольно ясный и существенно небесный, Божеский. Мне было бы все-таки отрадно, если бы Вы хотя переслали мои два письма, – которые я Вам дал, и это – Константину Петровичу. Он с сердцем человек, в нашу пору уже единственный (или из немногих) по пронизанию. Вы же написали о детях один исход, указанный юриконсультom: “можете Вы лично обратиться в суд с просьбою об усыновлении детей – и возможен случай, что суд просто забудет опросить и жену Вашу, согласна ли она на запись в формуляр Ваших детей”. Вот эту забывчивость Конст. Петрович мог бы внушить суду; и судьба детей моих могла быть устроена. Несколько строк частного письма – и “впавший в яму в субботний день” был бы вытащен.

Глубоко преданный Вам В. Розанов».

Ужо тебе!

Увы, этого не случилось. Человек так и остался для субботы, и никто заблудшую овцу из незаконной ямы вытаскивать не стал. Однако тут вот что еще стоит заметить. Сергей Николаевич Дурылин, на чье воспоминание я уже ссылался, впоследствии писал о Сусловой: «Для Розанова это несогласие этой дамы на развод грозило ссылкой в Сибирь: он не просто *жил* с Варварой Дмитриевной и имел от нее детей, которые не могли носить его фамилии. Это было бы полбеда. Дело в том, что В<асилий> В<асильевич> был *тайно обвенчан в церкви* с Варварой Дмитриевной. Если б это открылось (Победоносцев знал это, но, по благородству своему, молчал), Вас<илий> Вас<ильевич>, как двоеженец, подлежал бы не только церковным, но и гражданским карам – разлучению с женой, с детьми и ссылке на поселение».

Нет, не так все было! Как никто не собирался вытребовать по этапу первую жену, так никто не думал отправлять на поселение мужа второй и отнимать у них общих детей.

«“Мою историю”, оказывается, все знали, – писал позднее Розанов Павлу Флоренскому, – Рачинский (учитель) – от меня. Победоносцев (с Рачинским на “ты”), митр. Антоний и, кажется, “весь святейший Синод” (оказывается, по письму летом ко мне – *Никон Вологодский* знает, коего в жизни я ни разу не видал). Все ко мне лично необыкновенно относились, чувствовал, что любят меня (м. Антоний, и – почти уверен – Победоносцев; Рачинский – сухарь – нет)...

Почему же все меня любившие и уважавшие люди промолчали? Почему? Почему?

Много лет думал:

– Да Христом испуганы. Он сказал: “Суть скопцы... Царства ради Небесного”. И еще: “Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух”.

И – все Евангелие.

“Его” боятся... И молчат. И трепещут. “Действительно – беззаконие”...

В “Сибирь” бы...

А уж дети во всяком случае “не Розанова, а чьи-то...”»

Однако едва ли дело было в буквальном следовании евангельским заповедям. Россия, да и весь христианский мир давно от них отошли и рассуждали житейски. А особенно в больших городах и в том обществе, к которому Розанов принадлежал. Да живи ты, как хочешь, плодись, размножайся, воспитывай деток, законных, незаконных, рожденных в браке или внебрачных, и не обессудь, что мы не можем дать им твое отчество и фамилию, ибо таковы законы, не *нами* установленные и потому не подлежащие отмене с *нашей* стороны, но опять же чья жестокость искупается их неисполняемостью, а раз уж ты заговорил про субботу, то мы не формалисты и ни в чью личную жизнь не лезем. Права сто раз была мудрая, здравомыслящая, трезвая Анна Григорьевна: выскочат дочки замуж и все равно поменяют фамилию, но для него это все было – *невыносимо*. Только как иначе могло быть, если Розанов вспоминал, например, такое: «...и когда померла моя старшая девочка Надюша, и я в Петербурге в полиции выправлял разрешение на пропуск на кладбище, мне пришлось выслушать злобное издевательство 22–25-летнего, в мундире, чиновника над “ребенком вдовы (имя рек) – хе-хе-хе”. Подлец знал, что я отец, и что ребенок в гробу лежит у меня дома; тут же в полиции, стоял огромный образ св. Николая Чуд., с горящей лампадой: и этот образ около этого издеательства над отцом и матерью умершего ребенка больно-больно, какой-то потусветной горечью, кольнул меня».

И похоронена первая Надя была не как Розанова, а как Надежда Николаевна Николаева по фамилии своего крестного. Вписать фамилию настоящего отца родителям запретили. Не положено-с!

Можно сколь угодно и весьма обоснованно критиковать Розанова за бесчисленные яростные нападки на Церковь, за «нетерпение сердца», за нежелание нести свой крест, за дефицит

кротости, смирения и прочих христианских добродетелей, можно укорять и осуждать за формальное прелюбодеяние, как это делали и при его жизни²⁷, и делают сейчас²⁸ – но, правда, как ему было *это* пережить? С его-то страхами, его мнительностью, тревогами и опасениями? «У меня 5 детишек, между 4 и 10-ю годами, семья, склеенная незаконно (тайный брак, 1-ая жена меня оставила в 1886 году и жива, вторая – всю себя положила для меня): стало быть, это абсолютные сироты без меня, умру я – и они (4 дочери) – через 10 лет в “% проституции”, – писал он Горькому. – Я когда об этом Влад[имиру] Соловьеву (т. е. что дочери будут, верно, по полной необеспеченности, проститутками) написал, – то он перешел к “другим философским темам”, просто не интересуясь кровью и жизнью, и я тотчас, не за себя, а как бы за мир – почувствовал к нему презрение, и это было настоящей причиной, что мы вторично “сатирически” разошлись».

Состояние розановской глубочайшей надломленности, внутренней скорби запечатлел незадолго до своей смерти и Н. Н. Страхов в письме Л. Н. Толстому. Тут примечательно, что если двумя годами раньше тот же автор тому же корреспонденту аттестовал В. В. как «звезду», то теперь мнение Николая Николаевича о его подопечном кардинально переменилось: «А Розанов – какое странное и жалкое существо! Он очень даровит – в том смысле, как он употребляет это слово; но он не может справиться с своим дарованием. Он пишет вдохновенно, но смутно и часто бестолково. Да и ни с чем он не умеет справиться; с женою, с дочерью-ребенком, с знакомыми, со службою – везде он, добрый и умный, находит поводы к тяжелым, мучительным отношениям. Я все боюсь за него, как будто он в постоянной опасности. Он далеко не здоровый человек, и сам за собой, кажется, смотреть не может. А я-то когда-то воображал, что это – крепкий молодец, провинциальный учитель гимназии, привыкший к своей глухой жизни! Оказался – мухортик, очень милое и очень слабонервное существо».

Может, и мухортик, конечно, только вот у самого Страхова детей не было и розановского страха, его отцовских чувств он был попросту не в состоянии понять, как не мог он прочувствовать и то подавленное состояние, в котором В. В. находился после смерти первой дочери, когда ему казалось, что своих детей у них с Варварой Дмитриевной уже не будет. И можно лишь догадываться, как был он безумно счастлив, когда один за другим они стали появляться на свет божий, как переживал, как боялся, как трясся над своими незаконными деточками и как опасался, что они тоже могут заболеть вслед за первой Надей и умереть.

«Крестница Ваша захворала вчера к ночи, так что сегодня чуть свет звали доктора, – писал Розанов Страхову в коротеньком не датированном письме в 1895 году, объясняя, почему пропустил две «литературные среды». – Без всяких почти предварительных приступов (был сильнейший только насморк) – мечется, плачет, впадает в забытие и несколько раз уже была рвота. Доктор еще не был, но предварительно велел обтирать голову мокрой губкой, поставить кругом живота согревающий компресс и клистир. И я бы все-таки не так беспокоился, если бы ее забытие и рвота не напоминали очень болезни умершей нашей девочки Нади».

Нет, не для Страхова была та история. И не для Владимира Соловьева²⁹. Им это все – компресс, клистир, мокрая губка, детская рвота – было неведомо. Они всё больше про литера-

²⁷ «Они всю свою жизнь очень легко обходятся без постов и говения, без молитв и причащения, совершенно игнорируя даже существование Церкви. Лишь в одном жизненном вопросе им приходится еще считаться с Церковью – в вопросе брачном: вот почему они с таким бешенством набросились теперь на брачные законы Церкви, как на последнюю крепкую ее позицию», – писал главный редактор консервативных «Московских ведомостей», будущий основатель Союза русского народа В. А. Грингмут в статье «Православная церковь перед лицом интеллигенции».

²⁸ См., например, статью о Розанове на сайте «Антимодернизм.ру»: «...против Христианства Р. В. выдвигал не теоретические возражения, а перечислял разрозненные и спорные факты несчастливых и неравных браков, расторжения незаконных и непризнания невенчанных браков, имея в виду, конечно, свой собственный незаконный второй “брак”».

²⁹ Позднее это очень точно сформулировал в письме П. П. Перцову С. Н. Дурылин: «У великоросса Розанова, у костромича Вас. Васильевича, в исключение из этого печально-верного закона, был гений семейственности. Его писательский стол как бы не отодвигался от семейного очага. Крик грудного ребенка не только не мешал ему писать, но вдохновлял его на писательство.

туру, про высокие материи, про тайны бытия и про премудрость Софии. Хотя – забегая вперед – тот факт, что розановские дети выжили и выросли, что болезнь первой Нади ни у кого из них не повторилась, – было, и правда, чудом самым настоящим, нарушением чина естества, тайной и милостью Божьей.

Но дело заключалось не только в личных заботах, тревогах, обидах, страхах, переживаниях и житейских неудачах непризнанного отца и оскорбленного беззаконного супруга, не в одной лишь его отдельной, по-прежнему нескладывающейся жизни. Наделенный невероятной интуицией, слабонервный, милый Розанов как будто чувствовал, что его частная и не такая уж на самом деле ужасная брачная история, вызванная несовершенством российских законов (бывали случаи куда страшней, когда незаконных детей убивали, подбрасывали, оставляли на папертях или в лесу, о чем он сам напишет в «Семейном вопросе в России» или в письме Антонию³⁰), есть симптом духовной болезни, поразившей весь организм империи. Огромная страна рушилась не потому, что ее хотел уничтожить брат казненного гимназиста из Симбирска, сказавший, по преданию, в ответ на слова некоего чиновника «Куда вы, молодой человек, лезете? Перед вами стена» – «Стена, да гнилая. Ткни и развалится» – нет, не потому, что гнилая была. А потому, что слишком твердая, жесткая, самоуверенная, глухая, потому что опаздывала, не отвечала времени, не хотела меняться, была катастрофически негибкой, нечуткой, и сама приближала свой конец, слиняв по грехам своим через два десятка лет в два дня. Самое большее в три.

Он не мог тогда высказать всего в публицистике, потому что цензура (так была запрещена его предостерегающая консервативная статья «О подразумеваемом смысле нашей монархии»), но в письмах Рачинскому сформулировал все очень четко: «Монархи губят себя излишней бюрократией, и нет Геркулеса, который сломил бы эти Авгиевы конюшни канцеляризма, и, вероятно, что они погибнут: что один – французский уже погиб».

Но его не слушали, а если и слушали и даже в чем-то соглашались, то ничего не делали. В лучшем случае жалели, как ту шелудивую собаку, с которой сравнит Розанова Леонид Андреев. И даже Победоносцев, на которого В. В. возлагал большие надежды, писал о своих впечатлениях розановскому опекуну, причем, что характерно, мнение его точь-в-точь совпадало со страховским: «Сейчас был у меня Розанов, послав вперед себя прилагаемые писания и книжку “Русск. Вестника”.

Я вышел к нему и беседовал с ним. Боже мой! Жалость подумать, что у нас происходит с людьми, способными мыслить, но развивающимися в углу и в отчуждении от людей!!

Я ужаснулся, взглянув на него. Изможденный, кожа до кости, дикий, блуждающий взгляд! (...) Мне жалко этого человека. Боюсь, что он кончит нездорово».

В конечном итоге так и вышло, только вот кончил нездорово не один лишь Василий Васильевич Розанов, но вместе с ним и вся православная русская монархия, которая так дорога была и Константину Петровичу, и Николаю Николаевичу и о которой с тревогой и болью, когда ее еще можно было спасти, писал изможденный посетитель с диким блуждающим взглядом. Но его не послушали, и тогда, расстреляв все патроны по своим, «слизью обмазанный», «сер-

Можешь ли ты себе представить женатого Владимира Соловьева? И можно ли допустить, что огромное “оправдание добра” писано подле горящего семейного камина, под детские милые “агу” из соседней комнаты? Если б затеплить камин, а в соседней комнате баюкать ребенка, не написалось бы ни холодно-благородное “оправдание добра”, ни страшные “Три разговора”, а написалось бы что-нибудь другое, более теплое, тихое, религиозно-душевное, важное. Василий Васильевич первый в России – да и не в мире ли? – устроил свой писательский кабинет в детской, – и как приходило время писать, – так и затепливал – метафизически – камин. Оттого у него чернила теплые, и пишет он не холодным, а нагретым пером».

³⁰ «Как-то сестра, много лет приезжает ко мне из Костромы, и рассказывает: “Какой случай у нас: в лесу нашли двухгодовалого ребенка. Умер с голоду; ползал – умер!” – “Как? Что?” – “Незаконный был: матери страшно было убить, она и оставила среди леса, в надежде, что кто-нибудь пройдет и возьмет. Так ребенок забился под елочку, сидел, может, и прошел кто-нибудь, – да не видал, а когда плакал, – никто не проходил. Только ползал-ползал, верно, долго, верно, маму искал; и материнское сердце искало его: да... Бог не велел, Бог указал стыд, Бог велел наказать таких. Ну, словом, вскрытие и – “умер голодной смертью”».

дитый господин средних лет, в очках, с редкой бородкой, с угрюмым и раздраженным видом», «хитрейший змий Розанов», Козел, сатир, юрод, каким запомнился В. В. своим современникам, хитрый рыжий костромской мужичок, зародившийся в воображении Достоевского и мысливший, по слову Бердяева, «не логически, а физиологически», сменил прицел, и именно с этого момента грандиозный метафизический розановский бунт развернулся во всю силу. «... во мне взбунтовался мещанин против аристократа, магната, герцога с обширных поместий, даже мещанишко малый, необразованный, но “со своими неотъемлемыми правами” – против страшного ума и силы, взбунтовалась Вандея против “победоносного” Парижа, принесшего “новый свет человекам”», – писал он позднее Н. Н. Глубоковскому.

«В. В. Розанов, будучи верным сыном православия, завопил от страшной боли, от боли религиозной. Он – не пустяшно религиозен. Он принадлежал церкви всей душой. Он вышел из консерваторов; все либералы считают его архиреакционером. Такой человек, находясь в лоне церкви, завопил от нестерпимой боли таким голосом, что, клянусь, если бы перевели его книги, то его бы услышала вся Европа, но в нашем обществе, по нашей лени и косности, почти никто его не слышит. Это явление – громадное; я думаю, серьезнее Фр. Ницше».

Так говорил Мережковский. Но Ницше здесь ни при чем. То был бунт русский, мятеж маленького человека, не помнящего своего родства чиновника Евгения из «Медного всадника», Акакия Акакиевича Башмачкина, наделенного при этом талантом их создателей, и направленный не против русского консерватизма и даже не против царской власти, но против Той, Что выше: «И поднялся “весь Розанов” на “всю Церковь”». И стал тогда неказистый русский человек с Петербургской стороны кем-то вроде ветхозаветного инсургента.

Чего же ты хочешь?

Свое «восстание» философ позднее описал в одном из «опавших листьев»:

«Раз я стоял во Введенской церкви с Таней, которой было три года.

Службы не было, а церковь никогда не запиралась. Это – в Петербурге, на Петербургской стороне. Особенно – тихо, особенно – один. В церковь я любил заходить все с этой Таней, которая была худенькая и необыкновенно грациозна, мы же боялись у нее менингита, как у первого ребенка, и почти не считали, что “выживет”. И вот, тихо-тихо... Все прекрасно... Когда вдруг в эту тишину и мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал:

“...вы здесь – *чужие*. Зачем вы сюда пришли? К кому? Вас никто не ждал. И не думайте, что вы сделали что-то ‘так’ и ‘что следует’”, придя ‘вдвоем’ как ‘отец и дочка’. Вы – ‘смутьяны’, от вас ‘смута’ именно оттого, что вы ‘отец и дочка’ и вот так распоясались и ‘смело вдвоем’”.

И вдруг образа как будто стали темнеть и сморщились, сморщились нанесенною им обидою... Зажались от нас... Ушли в свое “правильное”, когда мы были “неправильные”. Ушли, отчуждились... и как будто указали или сказали: “Здесь – *не ваше место*, а – других и настоящих, вы же подите в *другое* место, а где его адрес – нам все равно”.

Но, повторяю, жулик знает, чем “отвертывать замки”, а “кто молится” и счастлив – тоже знает, что он – *молится* именно и – именно счастлив; что у него “хорошо на душе”; и вообще что *в это время*, вот, может быть, *на одну эту минуту в жизни*, – он сам хорош.

Опять настаиваю, что дело в кротости, что я был именно и всегда кроткий, тихий, послушный, миролюбивый человек. “Как все”.

Когда я услышал этот голос, может быть и свой собственный, но *впервые эту мысль сказавший*, без предварений и подготовки, как “внезапное”, “вдруг”, “откуда-то” – то я вышел из церкви, вдруг залившись сиянием и гордостью и *как победитель*. Победитель того, чего никто не побеждал, – даже того, *кого* никто не побеждал.

– Пойдем, Таня, отсюда...

– Пора домой?

– Да... домой пора.

И вышли».

Виктор Григорьевич Сукач написал в примечаниях к этой сцене, что «этот биографический факт можно считать началом так называемого антихристианства Розанова». Это верно лишь в том случае, если считать все «опавшие листья» фактами, а не текстами, но не факт, что именно так и происходило в реальной жизни. Недаром прочитавший перед самой смертью «Уединенное» Суворин записал в дневнике: «Когда я читал, я все думал: а все-таки Розанов не все говорит, что знает, главнейшим образом, что чувствует. А это было бы очень интересно».

Однако в данном случае есть документ, позволяющий подтвердить этот сюжет и узнать о нем больше. Речь идет о письме Розанова уже упоминавшемуся выше профессору богословия Николаю Никаноровичу Глубоковскому, в котором воспроизведена та же самая сцена ухода из церкви, но протестное состояние В. В. выражено еще сильнее, пронзительнее, надрывнее, чем в «Опавших листьях», и, как мне представляется, именно его можно считать неким пиком или концентрированным выражением розановского религиозного мятежа:

«Теперь слушайте: любил я с крошками детьми (когда мать нездорова или что) ходить в церковь, к Введению, на Петербургской стороне. Я всегда был задумчив, и рассеян. Психология мечтателя и созерцателя. Я не вижу того, что другие все видят – годы: за то могу год – не отводя глаз, рассматривать песчинку, которой другие не замечают. Вот моя практическая слабость и теоретическая сила (так произошла книга “О понимании”). Теперь будьте страшно внимательны: стоя в церкви, с такой безграничной любовью к этой церкви, ко всему, всему в ней, виду, житию, священнику, дяку, всему и к молящемуся люду я как-то однажды подумал:

– А ведь все это меня не любит.

Не умею передать. Слов не было. Было ползучее чувство морфологическое, клеточное передвижение в душе, и озарение из них как молнией.

– Я, моя Варя (жена), эти вот дети, которых я сюда привел, всему этому храму противны, чужды, ненавистны, как “беззаконники”, нарушившие их “святые уставы”, и в основе и отдаленно все мы “враги Христовы” или “Христос наш враг” просто по существу: “Суть агнцы Царствия Ради Небесного”, “хорошо вдаять в брак, а лучше не вдаять” (Ап. Павел), а вообще все это “мазаны” и “непомазаны” (Щедрин). Ну, в письме не напишешь. С глубокой медлительностью, вот “как яблочко зреет”, вся безграничная моя любовь к церкви – безграничный идеализм скромного, теплого семьянина, терпеливого как “осел”, невзыскательного, негордого – обратилась (через годы) в столь же неумолимую ненависть (ярость) ко всему “Сему Царству”; не говоря уже о храме, но и к Тому, Кто дал 1-й толчок к девству, первый сворот от ветхозаветного идеала семьи – прочее и прочее. Словом, все совершилось органически – идеи, догадки, сопоставления потом пришли, хотя шли быстро, “открытия следовали за открытиями”, раз я стал в позу отрицания всего, ненавидения всего. Тут поверьте, не только храмы не удерживаются, наше “старенькое, добренькое православие”, но ничего не удерживается, и мне представляется и чувствуется сплошной ложью, хорошо прикрытой и хорошо разукрашенной и запутанной в необыкновенно искусный узел (Иисус завязал). Словом, ум мой беден: развязывать всего я не умею, я обыкновенный человек: но потенциально во мне, на моем личном примере – христианство не то чтобы умерло: но его как религии никогда и не было. Вы знаете: умер человек, от скарлатины: и тезис “человек бессмертен” – румяна, все равно из-за смерти одного. Не умею доказать. Все люди бессмертны (положим – все Адамы, и еще до греха): вдруг один умирает. И тогда ясно, что “смерть есть”, “бессмертия нет”. Так в моем примере:

“Христианство – свет”

“Христианство – добро”

“Христианство – любовь”

“Христианство – Бог”, “Бог наш, иного не знаем”.

Но стою я (вот тогда в церкви) – глубоко несчастный, глубоко грустный, глубоко правый (да! да!) с детьми – малютками, женой – такой наивной самоотверженной, ко всему и вся никогда себя не помнящей, и та добрая старушка в Ельце, все обиженные, оттолкнутые гордой (да! да!) церковью, такой самоуверенной (суть ее!) гордецами апостолами (как ап. Павел противопоставил себя Моисею!) и основой всей гордости – Иисусом, Который сказал: “Я – Бог” (в вариантах, в оттенках) – вот и только, и это как “Иван умер от скарлатины”, один – умер: ergo смерть есть и бессмертие миф): так из моего примера обнаруживается:

Церковь – гордыня (Не правда ли? не правда ли? Суть в этом “святатые”, “не поправимые”, нельзя нарушить соборных постановлений и даже самых глупых мнений св. отцов). Церковь – злой дух.

Церковь – лживые, лицемерные уста.

ВСЕ = ЛОЖЬ

Вот! Вы умом своим все это “укомплектуйте”, раздвиньте строки в томы и получится моя личная и литературная история. Мое положение личное до того неделимо стойко, не по моему усилию, а по своей сути, что, я уверен, скорее вся церковь разъедется, рассыплется, как дресва (песок) из гранита (выветрившегося), чем я хотя на вершок сдвинусь с места. И пусть я негодяй, лом (“лом – всякий человек”); не во мне дело, а в моем вот тогда молящемся в церкви, я помню тот час свой, помню, что он был прав, помню весь колорит правоты, вот этот смиренный с наклоненной головою, так хотящий бы поцеловать руку у <мо>лоденького священника, так слушающий дьячка. Все помню.

И

– Не надо!

– Не наш!

– Вон!

– Черт!

Тогда я ответил: – Черти!

Вот так просто! Теперь я Вам скажу другое: я верю, что со мною Бог, вот “как бы чувствую Его за пазухой”. До сих пор (50 лет) во мне сохранились это мое вечное трудолюбие, абсолютная трезвость мысли, спокойствие души, после – это малое; сохранилась (без преувеличения) моя скромность, просто “недуманье ничего о себе”, особенно никакого /нрзб./, безграничная расположенность к людям (даже к врагам, напр/имер/ литературным), презирающим меня – (ей! эй!), простота, глубокая житейская наивность, и я думаю: “да неужто это от черта? Неужто со мною черт? Не явно ли, что Бог меня хранит, что он недалеко от меня. И прочее. И тогда резюмирую: думаю: в истории должно было что-то случиться “в роде меня”, дабы раскрылась какая-то (может и точь-в-точь так, как я думаю) неправда церкви и христианства, и вот все это, я, моя личная судьба. 1-й брак, – до того идеалистический, и 2-й вне всякой чувственности (тут интересные подробности: дело в том, что между 2-мя браками я в половом отношении “испортился”, стал импотентным – почти совсем: и когда произошел “духовный роман”, – я со скукою сказал невесте (ей 26 лет), что “неспособен”, “кажется совсем и вот-вот на доньшке”. Тогда она, моя самоотверженница – сказала, что это грустно конечно, но что она будет – жить со мною духовно, без сожития, и гасила мое отчаяние: когда потом я “расцвел” просто от здоровой и молодой женщины. Но этого возможность я тогда не знал) – все это устроено, создано Провидением, чтобы “вышло все, что вышло”.

Устал и пошел спать.

Друг мой: я уверен, что все это совершилось для “судьбы” и “истории”. И как мне никогда не приходилось излагать, т. е. вот особенно тогдашнего отчаяния в церкви, – то сохраните эти строки и по моей смерти».

Тут, собственно, нечего и комментировать. Разве что вспомнить то нежное, умиленное письмо, которое В. В. послал Страхову десятью годами ранее, с описанием всенощной во Введенской (тоже!) церкви в Ельце. И сравнить с этим. Там было *вхождение* во храм, здесь – *выход* из него.

«Церковь сказала “нет”. Я ей показал кукиш с маслом. Вот и вся моя литература», – очень точно и афористично сформулировал он свою историю позднее.

Так из малого выросло великое, из частного общее, из личного – общественное, а вернее, для Розанова разницы между этими противоположностями не существовало. Отрицание церковными властями его нового брака, непризнание его жены и детей, его собственная семейная история стали маленьким прологом, одним из миллионов ручейков, ведущих к общенациональной смуте, которая в итоге смела Российскую империю, поколебала Церковь, но и саму розановскую семью уничтожила. Русский Иаков с его семейной драмой, если вспомнить столь драгоценную для Розанова историю богоизбранного народа, так и не стал русским Израилем, и его тяжба с Богом ни к чему путному не привела. В. В. не меньше другого своего великого современника заслужил горькой чести прозываться «зеркалом русской революции», однако складывается впечатление, что хотя у розановского восстания были вполне очевидные, понятные причины, цели его были столь же неочевидны. В самом деле, чего добивался он своей критикой исторического христианства и современной Церкви? Какую мишень хотел поразить? Какого искал результата? Не черной же консервативной революции в самом деле? А чего тогда? Реформирования государственных институтов? Решения семейного вопроса? Но для этого слишком сильный был замах, да и не в ту сторону, тем более что своего он частично добился, только для этого не надо было нигилистически крушить все подряд. Но, похоже, Розанову просто было важно высказаться, выплеснуть, взбудоражить, спровоцировать, ошпарить, буди-

ровать, дать выстрелить так долго сжимавшейся внутри его существа пружине, а к чему это приведет? Не его тема.

Интересно еще и то, что в «Опавших листьях», уже после того, как семейная ситуация опять же отчасти разрешилась в его пользу, автор взглянул на нее с другой стороны: «Но тут надо понять так: теперешнее духовенство скромно сознает себя слишком не святым, слишком немощным, и от этого боится пошевелиться в тех действительно святых формах жизни, “уставах”, “законах”, какие сохранены от древности. Будь бы Павел: и он поступил бы, как Павел, по правде, осудив ту и оправдав эту. Без этого духа “святости в себе” (сейчас) как им пошевелиться? И они замерли. Это не консерватизм, а скромность, не черствость, а страх повредить векам, нарушив “устав”, который привелось бы нарушать и в других случаях и для других (лиц), в случаях уже менее ясных, в случаях не белых, а уже серых и темных. Пришлось бы остаться, с отмененным “Уставом”, только при своей совести: которая если не совесть “Павла”, а совесть Антониев, и Никонов, и Сергиев, и Владимиров, и Константинов (Поб.) то как на нее возложить тяжесть мира? “Меня еще не подкупят, а моего преемника подкупят”: и станет мир повиноваться не “Уставу”, а подкупу, не формализму, а сулящему. И зашатается мир, и погибнет мир. Так мне и надо было понять, что, конечно, меня за... никто не судит, и Церковь нисколько не осуждает..... и нисколько не разлучает меня с..... а только она пугается это сделать вслух, громко, печатно, потому что “в последние времена уже нет Павлов, а Никандры с Иннокентиями”. Потому что дар пророчества и первосвященничества редок, и он был редок и в первой церкви Ветхозаветной, и во второй Новозаветной. Аминь и мир».

Да, все так и было; они понимали, что порядки надо менять, но не решались, боялись тронуть, взять на себя ответственность, опасались последствий, осторожничали, выжидали, тянули время, резали хвост по частям, а может, просто потеряли всякую государственную силу и стали политическими импотентами, и тогда это решительно сделали за них энергичные красные дьяволята во главе с симбирским младшим братом, насчет своих моральных качеств ни разу не усомнившиеся, ничего не страшась, отменившие все таинства и упразднившие препятствия для моментального устройства личной и семейной жизни. Но так и хочется спросить Розанова в 1918 году, когда над Русью с грохотом опустился железный занавес и грянул Апокалипсис нашего времени, зато никто не мешал гражданам свободной России разводиться и жениться, сколько душевнее угодно: этого ль Вы, Василий Васильевич, хотели?

Слово и тело

Однако это будет позднее, а в ту пору розановская мысль восстала не только против Нового Завета, Христа, монашества и скопчества, которое В. В. рассматривал как христианство, доведенное до логического конца, и впоследствии высказал все, что об этом думает, в своих известных сочинениях, а также в докладах на заседаниях Религиозно-философского общества. Сопутствующим явлением, своего рода физиологическим, психологическим, патологическим, философическим, онтологическим осложнением, ответвлением или разветвлением этого бунта в его творчестве сделалась *тема пола*. Более того, в каком-то смысле она ему предшествовала и этот мятеж подпитывала и им же вдохновлялась. Был ли вызван этот особенный интерес его брачными проблемами, особенностями склада души, физиологией, психологией, возрастом, детскими пороками³¹, автоэротизмом, травмами, комплексами, сексуальными расстройствами, генами, духом времени или же всем вместе взятым – сказать трудно. Когда в 1991 году на излете перестройки журнал «Литературное обозрение» выпустил номер, посвященный эротике в русской литературе, в нем были опубликованы три «распоясанных письма» Розанова к Зинаиде Гиппиус, которые в первую очередь интересны соединением «низа» и «верха».

«Там на том свете (ты грозишь) – хоть распори-пори меня, а на этом хочется поиграть “белыми грудями”. Да и не только поиграть – а больше. Да и не только грудями – а больше, – писал он в одном из них. – Ты это письмо “товарищам” не показывай: боюсь их гнева. И они слишком серьезны, без твоего милого вдохновенья к дурачествам, чему я так симпатизирую. Ей-ей: жизнь до того серьезна, и так заботна, что хочется *неудержимо* “распоясаться”... Да, Зина: сколько я думал: отчего я “это” все так люблю, и от юности, от отрочества так любил, и, ей-ей, благоговел пред “миррой сладкой, падающей с пальцев ее...” (Песнь песней). Отчего, Зина, скажи? Неужели это – не вечное? Неужели это *порок* и только? Неужели тут нет более глубокого основания и сущности? Дм. Серг. как-то сказал: “Да... Бог вышел из vulv’ы; Бог должен был выйти из vulv’ы – именно и только из нее”. Он теперь, подлец, это забыл, а тогда (года 3–4 назад) это меня поразило, и я “намотал себе на ус”».

Характерен ответ Гиппиус: «Вы, Вася, человек добрый, я это знаю, однако вы тоже и Васька Каин. Думаю, на том свете вас в конце концов простят, но сначала здорово сечь будут. И не то, чтоб насильно, а сами будете просить: ох, дери меня, как сидорову козу, дери, пока я спокойствия душевного не получу, потому что не могу вынести, что я глупый, о такой простой вещи не догадался, человеческое с Божиим перепутал и концы в воду спрятал!»

Но опять же Розанов не был бы самим собой, если бы держал эти мысли внутри себя, с ними боролся, их стыдился, исповедовал, каялся, нет – это все не про него; он нес их в свои тексты, пускай и в других выражениях, яростно споря с теми, кто придерживался иной точки зрения. «Мы говорим о плотской любви, о половом влечении мужчины и женщины – да извинят нас термины, уже всюду начавшие повторяться, – писал он в статье с характерным названием «Семя и жизнь». – Это – “низменный инстинкт”, определяет его г. Вл. Соловьёв в статье “Судьба Пушкина” (“Вестн. Евр.”, сентябрь 1897 г.); “животное и грязное чувство, лживо

³¹ Ср. в письме Голлербаху: «Затем я начал страдать – нет: а получил (мнимо) – гоголевский порок от того, что обширное овчинное одеяло, какое нами употреблялось ночью “в повалку”, давно проносилось, шерсть была только клоками, состояло оно почти из кожи только: и вот – едва сделаешь это – как во все время делал я – согреваешься – и затем крепко-крепко (от ослабления) засыпаешь. Это было задолго до образования семени: и я думал, что “умру”, когда вдруг раз – при повторении днем (“наслаждение”) у меня выбрызнуло 1-ое семя. Я был потрясен, испуган и главное “умру”. Нужно В. заметить, что все, которые пишут, что “от этого можно отстать” – лгут. Отстать от этого невозможно, это неодолимо. И вот слушайте впечатление от этого в пору писания “О понимании”. Мысль греха: трансцендентного. “Я – гибну”. “Я что-то нехорошо делаю”. “Я буду хворать”. “Вообще я негодный человек”. “Я ни к чему не способен”. “Простите звезды, прости – небо”. “Прости Боже, если Ты можешь”».

изукрашенное поэтами”, определяет г. Меньшиков (“Элементы романа”, в “Книжках Недели” за сентябрь – октябрь, 1897 г.); “преступление, сообща творимое мужчиной и женщиной”, как формулировал уже давно, но памятно гр. Л. Толстой в “Крейцеровой сонате” (...) Жизнь. Она начинается там, где в существах возникают половые различия; и эти последние начинаются там, где появляется жизнь. Растения – и те не лишены пола, но совершенно лишены – камни. Глубоко поэтому, и как бы выявляет мысль всей природы, наименование подруги первого человека “Евою”, что значит одновременно и “женщина” и “жизнь”: т. е. указывает, что “женщина” – это и есть “жизнь”, что в ее половых отличиях, и соответственно, конечно, в половых различиях ее друга, и лежит тончайший субъективный нерв жизни. Но полнее и отчетливее – что же это такое? Не без причины пол ищет мрака, любит ночь. Это он сам есть темнота, но уже не окрест человека, но в человеке. Темнота не как грех – о, нет! – но как важное. Человек имеет день в себе, в своей организации, в своих выявлениях: ну, торговать, конечно, нужно днем – не просчитаешься; но придумывать рифмы – ночью, иначе ошибешься. На биржу мы спешим утром, но замечательно – в храм идем или ко “всенощной”, или к “утрене”, т. е. или перед полуночью, или сейчас за полночью; в обоих случаях по темным еще улицам и до восхода солнца. Пол – это начинающаяся ночь в самой организации человека: в том смысле, что ясно анатомическое и сухо анатомическое его расчленение теряет здесь ясность, сухость и вместе рациональность свою. Всё, приближаясь сюда, становится трансцендентно, т. е. не только окружено это трансцендентными по необъяснимости своей бурями, “огнем поедающим”, но и вообще как-то переливается в значительности своей за край только анатомических терминов. Это – второе темное лицо в человеке, и, собственно, оно есть ноуменальное в нем лицо: от этого – творческое не по отношению к идеям, но к самым вещам, “клубящее” из себя “жизнь”; но оно так густо застлано от наших глаз туманом, что, в общем, никогда его не удавалось рассмотреть».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.